Евгений Соловьев

Георг Гегель. Его жизнь и философская деятельность

Серия «Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф.Павленкова»

http://litres.ru/

Аннотация

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Содержание

Введение	5
Глава I	8
Глава II	14
Глава III	23
Глава IV	27
Глава V	31
Глава VI	38
Глава VII	50
Глава VIII	54
Приложение	57
Источники	67

Евгений Андреевич Соловьев
Георг Гегель. Его жизнь и философская деятельность

Биографический очерк Е. Соловьева
С портретом Гегеля, гравированным в Лейпциге Геданом

Введение

Если мы, русские люди, хотим ознакомиться с умственной жизнью нашего общества тридцатых, сороковых и отчасти пятидесятых годов XIX века, нам не миновать философской системы *Гегеля* или, по меньшей мере, обстоятельного очерка о ней. Были дни, когда диалектические тонкости и хитросплетения берлинского мудреца безраздельно властвовали над лучшими умами России, и эти дни по своим богатым результатам навсегда останутся светлым воспоминанием для русской интеллигенции. Тогда многие честные люди смотрели на знакомство с философией Гегеля как на *нравственное* обязательство и даже принуждали себя к нему. К таким принадлежал, например, Станкевич. Мы знаем, что целый период умственного развития Белинского проходил под знаменем гегельянства. Правда, Белинский быстро разочаровался в «Егоре Федоровиче» Гегеле, но ведь Белинский, по своей оригинальности, – натура исключительная. Упомянем еще имена Грановского, Тургенева, и мы увидим, что философская система Гегеля, несмотря на всю свою несомненную туманность, была как бы откровением для русской интеллигенции. Ей мы обязаны появлением двух наиболее плодотворных течений нашей мысли: западничества и славянофильства. Ей когда-то мы верили с тем самоотвержением, тою горячностью, которые характеризуют несамостоятельную еще мысль, судорожно хватающуюся за иллюзию, способную осветить весь жизненный путь до последнего верстового столба у кладбища и даже за ним. На ней выросло поколение сороковых годов, поколение самое богатое и мощное, и, за исключением позитивизма, своим *формальным* развитием русская мысль наиболее обязана Гегелю.

Быть может, кто-нибудь читавший или только пытавшийся читать Гегеля найдет в этом факте немало поразительного. Мы так далеко ушли от Гегеля и от его способа мышления, так привыкли к другим способам рассуждения, что Гегель уже не может соблазнить нас, несмотря на все свое остроумие, а чтение его книг вызывает в нас совершенно основательную скуку и недоумение.

Но тогда было другое время.

Русские люди не открыли Гегеля, а только подражали Западу в восторгах перед всеобъемлющей системой берлинского мудреца. Если теперь мы признаем за этими грудами акробатической диалектики только известного рода пользу, то в двадцатых и тридцатых годах увлечение философской системой Гегеля представляется в следующем виде: «Несомненно, – говорит Гайм (1857 г.), – что еще многим из живущих памятно то время, когда все знания питались от роскошно убранного стола Гегелевой мудрости, когда все факультеты толпились в прихожей философского факультета с целью усвоить хоть что-нибудь из возвышенного рассмотрения абсолютного существа и из неуловимой гибкости прославленной гегелевской диалектики, когда всякий был или правоверным последователем Гегеля, или варваром, идиотом, отсталым человеком, презренным эмпириком; наконец, когда само государство считало себя безопасным и прочным оттого, что старик Гегель построил его на началах разумности и необходимости, и потому на искавшего духовной должности или звания наставника, ежели он не был гегелистом, смотрели у нас как на преступника. Эти-то времена надо возобновить в своей памяти, чтобы понять вполне, в чем заключается настоящая сила и важность значения какой-нибудь философской системы. Необходимо со всей живостью представить себе восторженность и самоуверенность гегельянцев 30-х годов, которые с глубокой серьезностью предлагали вопрос: „Что будет составлять дальнейшее содержание всемирной истории после того, как мировой дух достиг в гегелевой философии своей последней цели, – знания самого себя?“

Итак, с точки зрения современников, Гегель понял и объяснил все; если теперь его система рухнула, если теперь чистые гегельянцы исчезли с лица земли, как какая-нибудь

вымершая порода людей, то десятилетие с 1825 по 1835 год по справедливости может называться эпохой гегельянства, и не только для одной Германии.

И это – несмотря на всю трудность, подчас непреодолимую, Гегелевой диалектики, несмотря на полную произвольность основных положений системы, несмотря на яркую, иногда грубую догматичность, так глубоко противоречащую духу новой и новейшей Европы? Да, несмотря ни на что.

Остановимся на форме произведений Гегеля, этой «колючей скорлупе, под которой скрывается миражеобразная истина», чтобы вполне оценить самоотверженность бесчисленных учеников, проникавших, более того, – считавших своей нравственной обязанностью проникнуть в сущность учения великого мудреца. Вот что говорит об этой форме Гайм, лучший толкователь и критик философской системы Гегеля: «Гегель никогда не был мастером ни в устной речи, ни в письме. Гете находил в нем недостаток легкости в изображениях; В. Гумбольдт предполагал в нем неразвитость способности владеть языком. Это можно заметить даже и в ту эпоху, когда он вполне сознал задачу созданной им системы. До этого целые годы он горячо борется с первыми рождающимися образами мысли. Чему же удивляться, если при его способе представления трудность понимать его доходит до крайних пределов?.. Самый непроницаемый и, можно сказать, необъятный материал представляет его философия природы; в ней лежат дикие, неразработанные массы действительности – рядом с другими элементами, которые логической силою нашего философа совершенно лишены плоти и крови. Даже самое острое зрение едва ли в состоянии заметить хоть одну живую пылинку в этих пространствах чистой мысли, и, в свою очередь, едва ли чья-нибудь мысль в силах проложить себе путь сквозь разноцветные, густо наложенные один на один образы. Здесь язык математики смешивается с языком логики и сменяется величественными поэтическими выражениями. Картины пронизаны блестящей пестротой и обрамлены нагими линиями построения. Никогда, быть может, ни до, ни после Гегеля, ни один человек не писал таким языком. Иногда его изложение темнее изложения Якова Бема и отвлеченнее Аристотелева: такова твердая и колючая скорлупа, из которой нам предстоит вынуть в чистом виде зерно миросозерцания Гегеля».

Конечно, не одно любопытство, не одна жажда познания заставляла десятки и сотни людей колоть себе руки об эту колючку. Тут был фанатизм, напоминавший принцип полумифической школы пифагорейцев, самоотверженно умолкавших при знаменитом «magister dixit» («так сказал учитель», и, *следовательно,* сомнения и споры неуместны), – фанатизм, заставлявший умнейших людей отдавать все свои способности, свое время, свои таланты, свою жизнь, наконец, на понимание и *рабское* усвоение чужого, в лучшем случае на истолкование его. Тут действовала не простая любознательность, а слепое увлечение, заставлявшее видеть в философии Гегеля уже не философскую, а *религиозную* систему. И для многих действительно она была религией, дававшей ответы на все вопросы бытия. По Мишле: «Гегель начертал программу, которую человечеству остается только исполнить». Для Розенкранца философия Гегеля представляла из себя последнее слово протестантизма. Один из серьезнейших русских писателей, вполне самостоятельно относясь к Гегелю, настойчиво отмечает в его философии именно этот религиозный характер. Он говорит: «Гегелизм был не только научной системой; гегельянцы были не только философской школой; точка зрения безусловного была не только метафизическим началом, – гегелизм был учение религиозное, гегелианцы были сектанты, безусловное было догмат».

Что же касается русских людей, увлекавшихся гегельянством, то, конечно, религией оно для них никогда не было и религиозного фанатизма не возбуждало. Но они, эти русские люди, изучая систему берлинского мудреца, впервые знакомились с совершенно стройным философским миросозерцанием, являвшимся последним словом европейской культуры того времени. В этой целостности, всеобъемлемости гегелевской системы и заключалась глав-

ным образом ее привлекательность. Ибо, как говорит В.С. Соловьев: «Философия Гегеля – абсолютно совершенная в себе замкнутая система; зная ее, можно понять общий смысл всего того умственного развития, которое в ней нашло свое завершение и самоопределение». В Россию она упала как бы с неба. Понять ее историческое значение как реакцию против рассудочного мышления и отвлеченного анализа, всегда преобладавшего на Западе, а следовательно, и ее крайнюю односторонность – русские люди сразу не могли, но несомненно, что благодаря своей стройности, наукообразности и всеобъемлемости она помогла им выйти из по-детски отрывочного миросозерцания, переполненного всяческим традиционным хламом, а ее изучение заставило пересмотреть все свои взгляды. Но гегельянство в России – для нас вопрос посторонний. Наша задача скромнее: мы хотим познакомить читателя только *с* личностью берлинского философа и общим духом его учения.

Чтобы решить ее, обратимся к биографии Гегеля и характеристике его эпохи, памятуя его же слова: «Всякое создание духа есть произведение своего времени, всякий отдельный человек – дитя своей эпохи».

Глава I

Детство и отрочество

Георг Вильгельм Фридрих Гегель по происхождению шваб. Его род перенесен в XVI веке из Каринтии в Швабию одним из предков, Иоганном Гегелем, искавшим здесь спасения от преследования католика эрцгерцога Карла. Наш философ родился 27 августа 1770 года в Штутгарте (Вюртемберг), где отец его служил сперва секретарем счетной палаты, а потом советником экспедиции.

Было бы очень приятно получить какие-нибудь обстоятельные сведения о семействе Гегеля; но, обращаясь за ними к его почтительному биографу Розенкранцу и к его собственным письмам, мы в них ничего или почти ничего не находим. Есть, впрочем, одна строчка в этих письмах, относящаяся к 1825 году, где Гегель упоминает: «Сегодня годовщина смерти моей матери, о которой я никогда не забываю». О его матери, умершей еще в молодые годы, мы знаем, что она сама обучала маленького Гегеля склонениям и спряжениям и отличалась как строгостью нравов, так и удивительной домовитостью.

Отец Гегеля, сначала секретарь счетной палаты, потом советник экспедиции, также, по словам биографов, «отличался строгостью нрава и удивительной аккуратностью», но, в чем именно заключалась «строгость его нрава», для нас остается неизвестным. Надо, однако, думать, что в ней не было ничего поразительного и что под «строгостью нрава» в данном случае следует подразумевать неукоснительно аккуратное посещение вюртембергской счетной палаты, не менее аккуратное возвращение домой в назначенный час, затем… Но приведем описание чиновничьего быта в данное время: «Попасть в дом к порядочному семейному чиновнику так же трудно, если не труднее еще, чем взять приступом первоклассную крепость. Сам pater familias, вернувшись со службы и плотно пообедав, ложится отдохнуть, после чего привычной стопой направляется в приличную, близлежащую Bierhalle,[1] где два часа упорно молчит и возвращается назад к своим пенатам очень довольный, что на сей раз никто не потревожил его разговорами о политике. Что он делает потом? Неизвестно, и только самое смелое воображение решается высказать гипотезу: «Ничего»… Gnädige Frau, почтенная мать семейства, в среднем кругу общества непременно религиозна, непременно домовита и хлопочет с утра до вечера, так как держать прислугу принято только у богатых людей. Она – хозяйка и любящая женщина, с добрыми голубыми глазами, с вечной мыслью об оторванной пуговице, о табачном пятне на одежде супруга, о предстоящей стряпне. Она родит очень аккуратно и обыкновенно безболезненно; сама обучает своих детей чистоплотности и вере в Бога, никогда не говорит со своим супругом об общественной деятельности и не знает даже, что тот берет взятки».

Кроме отца и матери, у Гегеля была еще сестра, оставшаяся девой до конца дней своих и с первой же страницы биографии исчезнувшая от наблюдательного взора Розен-кранца, и два брата, из которых младший погиб в юных летах – от пули или штыка, точно неизвестно.

В этом семействе прошли первые годы Гегеля. Его окружала умеренность, аккуратность, чистоплотность и материальный достаток, по-видимому, из самых средних. Все эти похвальные качества и принадлежности семейной жизни он впитал в себя и впоследствии, женившись, создал себе буквально ту же обстановку. Его жена «отличалась домовитостью и строгостью нравов и обходилась также без прислуги, разве в случае беременности»; двое

[1] пивную *(нем.)*

чисто одетых детей и сам неукоснительно аккуратный Гегель до мельчайших подробностей могли напомнить жизнь секретаря вюртембергской счетной палаты.

Первые годы детства нашего философа мы оставим в стороне, по той основательной причине, что говорить о них решительно нечего. Er war Kind mit Kindern und Knabe mit Knaben,[2] утверждает Розенкранц, и мы охотно верим этому, так как никто ведь не ожидает узнать будущего угрюмого и ворчливого профессора, поражавшего с высоты философской кафедры «горячих мальчишек, верующих в свое чувство» (то есть германскую молодежь), в красном ребенке, спокойно лежащем в своей по-немецки аккуратной кроватке. Отметим только болезнь глаз, от которой Гегель едва не ослеп, и факт, сообщаемый почтительным Розенкранцем исключительно уже в видах полноты и обстоятельности: «Гегель очень любил прыгать, но танцевать научиться не мог».

Вот и все, что мы знаем о семействе нашего философа, о первых годах его, вероятно, счастливого детства: хворал, прыгал, обучался склонениям и спряжениям. Более личных подробностей у нас нет, но есть некоторые немаловажные сведения о состоянии общественного духа того времени. Скажут, однако: «Гегель был слишком мал, чтобы общество в этот период его жизни могло влиять на него». Так-то оно так, но не совсем. В сущности, влияние общества на человека начинается с первой минуты появления последнего на свет Божий и выражается во всем складе домашней обстановки, в способах наказания, в бесчисленных нотациях и нравоучениях, читаемых маленькому шалуну. Сын рыцаря видел себя окруженным доспехами и всякими воинственными принадлежностями, привыкал скакать верхом на сабле, а не на тросточке, слышал воодушевленные рассказы о балах, подвигах, разбойничьих и иных набегах и всем этим проникался. Сын скромного и неукоснительно аккуратного чиновника был окружен атмосферой благочиния, скопидомства и педантичной умеренности и также этим проникался. Общественный дух проявляет себя в тысяче иногда неуловимых подробностей, поэтому нелишне всегда иметь его в виду.

Прежде всего, мы имеем тот несомненный факт, что Гегель родился в один из самых тяжелых для своего отечества периодов. Совершенно парализованная общественная жизнь, полное отсутствие каких бы то ни было признаков общественной инициативы и самодеятельности удаляли все хоть немного требовательные и мыслящие умы от реальных задач и реальных вопросов жизни. Этих вопросов избегали всяческими способами; когда же они слишком уже настойчиво требовали решения, на них давались ответы, способные заглушить в человеке какое бы то ни было, хоть самое крохотное, стремление к активной роли здесь на земле. Отметим тот не лишенный интереса и поучительности факт, что по мере усиления внешнего гнета и самого грубого произвола все более распространялся пиетизм, а затем, как производное явление, наклонность ко всякого рода чертовщине, таинственности и бессодержательной схоластике. Словом, движение, начавшееся еще после Вестфальского мира (1648 г.), достигало благополучного завершения. «После этого унизительного события, – говорит Шерр, – Германия вполне предалась внутренней духовной жизни. Благородные, но слабые умы различными мечтаниями заменяли для себя утраченную народную честь и политическое значение. Эта внутренняя духовная деятельность, не находя себе никакого разумного применения на поприще общественной жизни, обратилась или на служение чувственности, или на созерцательно-химерическое времяпрепровождение. Здесь немецкий дух находил утешение от внешних зол». В этом направлении родина Гегеля шла в первых рядах многочисленной армии германских государств. Мы сейчас увидим, какого распространения добился в ней пиетизм, до каких нелепостей дошло искание чудесного и таинственного.

[2] С детьми он был ребенком, с мальчишками – мальчишкой *(нем.)*

Пиетизм, религия сердца, имел, конечно, свою положительную и симпатичную сторону. Из уроков своей матери-пиетистки Кант вынес ту нравственную твердость, ту непоколебимую веру в правду человеческой совести и необходимость нравственного обязательства в жизни, которые составляют основу его критики практического разума. Человек должен стремиться не к счастью, а к тому, чтобы быть достойным счастья, – говорили пиетисты, – нисколько, конечно, не затрудняясь придать своему учению религиозную санкцию. Их мораль, строгая и совершенная в себе самой, благотворно отражалась на чистоте семейной жизни, на святости домашнего очага, – но каков был тот практический земной идеал, к которому стремились пиетисты? Это был идеал кротости, смирения, воздержания, строгости, умеренности и т. д. без малейшей примеси какого бы то ни было общественного элемента, идеал самоусовершенствования, погружения в нирвану своего оторванного от общества и его задач «я». В религиозном отношении пиетизм представлял собой очищенный от государственного элемента протестантизм. В этой-то религии, в этой нравственности люди находили то спокойное упражнение своих сил и своих добродетелей, которое помогало им коротать жизнь здесь на земле и умирать, не свершив ничего. В пиетизме надо отметить еще и его созерцательный характер, его созерцательное настроение, окончательно удалявшие человека от жизни, и нет ничего удивительного, что во время тяжелого господства Гренвиц – куртизанки, игравшей в Вюртемберге роль абсолютного монарха – «пиетизм сделал значительные успехи». Рядом с ним и по тем же причинам пышным цветом распускалось схоластическое богословие. Своим созерцательным элементом, своею особенной преданностью вере пиетизм подавал руку всем необузданным мистическим учениям, всему таинственному, сверхъестественному в жизни. В человеке появилась какая-то особенная потребность чувствовать свою близость к иному миру, раз земной мир так скверен. Подобный спрос находил большое предложение. *Месмер* в это время толкует о своей таинственной жидкости, которая как начало всепроникающее является «душою мира»; *Гаснер* производит свои опыты чудотворного лечения; *Шпренфер* вызывает духов, – конечно, нечистых; *Сен-Жермен* старается разбудить улегшуюся страсть к алхимии; *Казанова* возвращает молодость и устраивает так, что молодые женщины беременеют от «лунных ночей». Его сиятельство– граф, князь, принц – все что угодно, *Калиостро* гремит по всей Европе и преимущественно в Германии. Тут же и *масоны* учреждают свои таинственные ложи. Уйти от действительности в область созерцания – этим принципом была пронизана вся общественная атмосфера. Прибавьте ко всему педантизм, умеренность и самодовольство чиновничьей обстановки, и вы получите в большей или меньшей степени ясное представление о тех «внушениях», которые получал Гегель в детстве. И, кстати сказать, к такого рода внушениям он остался особенно чувствительным в продолжение всей своей жизни. Его постоянно тянуло в сторону догматизма и веры; вся его система выросла на почве полного разлада между идеалом и действительностью. Пусть читатель прочтет ниже биографии Гельдерлина и Шеллинга, а также характеристику романтиков: он поймет эту почву, поймет все ужасы этого разлада и страстную потребность уйти от него куда-нибудь.

От 10 до 17 лет Гегель пробыл в школе. Уже здесь он является перед нами «маленьким стариком», как его прозвали товарищи, с наклонностью всестороннего обсуждения, слишком большим педантом для окружающих его шалунов. Он сходится с ними очень мало, предпочитает одиночество и с удивительной пластичностью натуры извлекает из неприглядного окружающего возможную пользу для своего развития. Когда другие стонут от грамматики, грамматики и еще грамматики или, отложив всякое попечение об интересах своей личности, предаются механическому зубрению, Гегель самостоятельно увлекается классиками и тут же, в школе, кладет начало выработке одной из самых существенных сторон своей системы – эллинизму.

От пятнадцатилетнего Гегеля остался его дневник, о котором будет рассказано ниже. Пока же – небольшой, быть может", даже апокрифический, анекдот, упускать который мы не хотим ввиду некоторых его подробностей. Один маленький шалун, пробегая мимо Гегеля, ударил его очень больно, но решительно без всякого основания, и побежал далее в поисках за подобными же подвигами и новым проявлением активности. Гегель, сам маленький, поймал за руку маленького шалуна и серьезно спросил его: «Почему вы меня ударили?» – «Так», – отвечал тот, совершенно сбитый с толку подобным философским отношением к делу. «Я хочу, чтобы вы мне объяснили», – продолжал Гегель. Мальчик объяснил, что ему было скучно и что под руку никто в данную минуту, кроме Гегеля, не подвернулся. «А разве, ударив, веселее?» – настаивал Гегель. Шалун расхохотался, еще раз наскоро толкнул маленького философа и исчез в длинном коридоре, – для нас навсегда.

Гегель очутился в школе – сначала в латинской, потом в штутгартской гимназии. Вот что рассказывает Фридрих Лукгард (род. в 1758 году) о своем первоначальном обучении: «Катехизис был оракулом религии для католической молодежи. Латинский язык изучал я по учебнику Альвари и по искаженным отрывкам древних авторов. История преподавалась по учебнику, где на одной странице на дурном латинском, а на другой – на страшном немецком языке излагались факты с иезуитской точки зрения, с примесью множества сказок и выдумок. С ранних лет в нас старались вселить самое сильное отвращение к еретикам и всевозможным реформаторам. Человек, вышедший из подобной школы, по необходимости был туп, как бык. Лютеранские и реформатские школы, однако, еще раз в десять хуже. Там учат люди, положительно не знающие ни слова по-латыни. Школьные учителя подражают господам пасторам и предаются лени и беспробудному пьянству». Сам Гегель дает не лучшую характеристику своим педагогам, говоря в похвальном слове одному из них: «Он мыслил не так низменно, как *другие,* которые полагают, что, имея кусок хлеба, они не должны уже более учиться, и совершенно довольны тем, что в состоянии повторять из году в год ту же классную рутину».

Читая дневник Гегеля, относящийся к школьной поре, мы видим перед собой маленького гениального педанта, почтительно и с преданностью относящегося к исполнению прямых своих обязанностей и исключительно преданного неукоснительному прохождению гимназической премудрости. Изредка говорит он о своих развлечениях, о «милых и достойных представительницах слабого пола», встретившихся ему на балу, и посвящает десятки страниц описанию школьных занятий. Почти исключительно интересуется он классиками.

«В prima, – говорит он, – мы переводили Курциуса, Эзопа, Новый завет (по средам и пятницам от 11 до 12 и от 2 до 3 часов). В secunda – Цицерона „De Senectute“, „Somniun Scipionis“, „Laelius“; с греческого – послания апостола Павла и кое-что с еврейского из псалмов».

«В этих дневниках, – говорит Гайм, – нет ничего, что давало бы хоть легкий намек на ранний высокий талант или обещало в будущем необыкновенное явление в области духа». Перед нами мальчик, преданный усердным занятиям, тщательно собирающий различные сведения. Гегель почти не говорит о себе. Во имя знания он проникся полным самоотречением, не допускает никаких субъективных взглядов и часто ничего другого не делает, кроме переписывания готового, или заготовляет обширные извлечения из книг. Сам он как будто отсутствует и только накопляет груду знаний.

И это, – продолжает Гайм, – тем более замечательно, что мы находимся в последней четверти XVIII века, когда составление книг о личной жизни было в моде и даже обратилось в страсть. В этом явлении заключался один из признаков далеко распространившейся болезни. Оно было в тесной связи с тем почитанием отдельных личностей, с тем кокетничаньем собственной персоной, которое образовалось за отсутствием великих и всеобщих интересов в Германии, среди полной пустоты нашей общественной жизни. В дневниках Гегеля

нет даже признаков подобного самоудивления; нет рассказа ни о душевных потрясениях, ни о важных, ни о незначительных личных делах. Вся жизнь мальчика заключается в том, что он повторяет выученное или узнанное от других и старается запечатлеть в памяти посредством беспрестанного припоминания».

Действительно же в эти годы Гегель игнорирует индивидуализм и личное чувство. Он читал «Вертера» Гете, но Вертер, по-видимому, не произвел на него никакого впечатления. У Гете человек говорит исключительно о своих страстях и страданиях, требует личного своего счастья во имя ясно осознанной индивидуальности. Гегелю гораздо более нравится «Поездка Софии из Мемеля в Саксонию», сухой дидактический роман, наполненный длиннейшими и скучнейшими рассуждениями о женской добродетели, о воспитании и супружестве, со тщательно составленным меню ежедневных и сытых, но дешевых обедов, «ибо правильное пищеварение содействует благополучию супружеской жизни». Такое нравственно-поучительное, картофельно-селедочное произведение как нельзя более пришлось по вкусу нашему юному философу.

В его юности вообще было мало молодости; уже в гимназии он казался умным не по летам и даже педантом. Какие высокомудрые наблюдения делает он по поводу одной ссоры крестьян между собой или по поводу еды вишен! Как угрюмы и как отдают классными темами его рассуждения о пагубных следствиях честолюбия и о безнравственности поединка! И, конечно, он был образцовым учеником, всегда получал награды и прочее.

Светлым фактом юности «маленького старика» было горячее увлечение не грамматикой, а духом древних произведений. Он до страсти любит «Антигону» и даже пытается перевести ее на немецкий язык. По его мнению, «изучение древних должно быть истинным вступлением в философию». Даже впоследствии «его взоры постоянно обращаются к образу Антигоны как самому незабвенному и сладкому воспоминанию в жизни». Быть может, возле этого дивного создания Софокла сконцентрировались все неясные, полные таинственного беспокойства, мечтания юноши о девушке; быть может, Гегель, подчиняясь волнению крови и совершенно особенному поэтически-созерцательному настроению своей души, даже любил чудный и гордый образ греческой героини. Его созерцательность, подавляемая массой воспринимаемого материала, в котором, как мы легко можем себе вообразить, было три четверти мусора, должна же была проявиться в чем-нибудь даже в эту ученическую эпоху. Иначе становится непонятен ее пышный расцвет впоследствии. Только с этой точки зрения понятно, почему Гегель протестующую героиню Греции называет родственнейшею из душ.

Затем, но уже под влиянием педагогов, Гегель увлекается рационализмом, толкует, что религия есть результат невежества, упроченный обманом жрецов; объясняет жертву Сократа Эскулапу не только «ослаблением умственных способностей мудреца от действия яда», но и «уважением к предрассудкам времени» и тому подобное. Но этот рационализм, отразившись впоследствии на первой стадии богословских занятий, не вошел в плоть и кровь Гегеля, рассеявшись под влиянием эллинизма, затем романтики и наконец общего стремления к догматическому, полному веры и презрения к скептицизму мышлению.

Вообще же Гегель работает…

Есть что-то увлекательное и высокое в этой неустанной энергии ума, стремящегося с самых юных лет охватить все предметы человеческого знания, всю совокупность человеческой мысли. В Гегеле эта энергия проявляется особенно рано и мощно, но со специальным колоритом смирения и покорности. Он легко и свободно, как какое-нибудь послушание, выносит на плечах свои утомительно-долгие ученические годы, нисколько не спешит выявить свое собственное «я», а спокойно занимается усвоением чужих мыслей, не мечтая, по-видимому, ни о славе, ни о самостоятельной работе. Он только учится, послушный внутреннему голосу и велению своей гениальной натуры, и если бы кто-нибудь сказал теперь

этому скромному семнадцатилетнему юноше, что через двадцать пять лет он не только будет учителем и творцом системы, но и единственным учителем целой Германии, он, по всей вероятности, удивленно вскинул бы на говорящего свои серые глаза и спросил:

– Почему вы так думаете?

Он учится, и в этом вся его жизнь. В общем, он неуклюж; с девушками – робок, и решительно недоумевает, какие цитаты и из какого автора наиболее приличествуют в разговоре с этими «милыми и достойными представительницами слабого пола». Он скромен, тих, почтителен, и не подозревает даже, что его ждет европейская слава и могущество, большее, чем могущество падишаха.

Глава II

Юность. – Тюбингенский университет. – Дружба с Гельдерлином. – «Sturm und Drang»[3]

Восемнадцати лет от роду, то есть в 1788 году, блестяще закончив гимназию, Гегель поступил в Тюбингенский университет с намерением посвятить себя изучению богословия. Едва ли он серьезно останавливался на мысли сделаться когда-нибудь впоследствии пастором – его, несомненно, привлекало общее философское содержание факультета. К тому же и наш юный педант не мог не заметить, какая деятельная работа мысли, какая перестройка всего заново происходила в области отвлеченного. «Преимущественно перед другими знаниями, – читаем мы о том времени, – богословие подверглось могущественному влиянию рационалистического, критически настроенного века. Опираясь, с одной стороны, на мощный фундамент философии Канта, с другой, – на историческую критику Землера, на общее скептическое и гуманное настроение эпохи, рассудочное размышление (raison raisonnante) разорвало всякую связь с церковным ортодоксальным протестантизмом». Если пиетизм подкапывался под него с точки зрения прав сердца и личной совести, то есть подрывал его государственный, бюрократический (или, как говорит Шерр, полицейский) характер, то рационализм обратил свое внимание преимущественно на догматическую сторону учения. И мы увидим ниже, к каким ценным результатам привели Гегеля его богословские занятия, продолжавшиеся почти без перерыва 7 лет (1788–1795 гг.).

Конечно, на первых порах он и здесь, то есть в области богословских занятий, является перед нами послушным учеником, покорно переваривающим весь информационный мусор, вынесенный из чтения книг, в большинстве случаев неумных, и из слушания сухих, за редкими исключениями, лекций; но в то же время в период этих богословских занятий мысль Гегеля уже начинает расправлять свои могучие крылья. Пока же он по-прежнему продолжает собирать коллекции цитат и приводит в порядок свои многочисленные выписки. Он все еще «lumen obscurum», как зовут его товарищи, которому, однако, суждено скоро засветить… увы! – не ко благу человечества.

Попробуем теперь нарисовать картину студенческой жизни Гегеля, когда он пил, любил и даже сочинял стихи. Чем были германские университеты того времени? Раз уже цитированный нами Лаукгард описывает университетскую жизнь нижеследующим образом: «Жизнь студентов, или буршей, Гиссена благодаря стараниям высланных туда нескольких йенских студентов была устроена совершенно по образцу йенской. Кто хотел быть уважаемым буршем, тот должен был каждый вечер посещать по крайней мере одну пивную – рейнская кружка пива стоила два крейцера – и пить там до 10–11 часов. Говорить о научных предметах считалось педантством, поэтому разговор постоянно держался на делах буршей и часто переходил в сквернословие. Я помню, в пивной Эбергард-Бум читались даже правильные лекции сквернословия по рукописному экстракту. В Гиссене попойки были разрешены, и мы часто пьянствовали на улице. Большая часть студентов вела себя как свиньи. Байковая куртка была их постоянным нарядом – и в праздник, и в будни. Кроме того, студенты носили кожаные панталоны и длинные сапоги. Драки были не редкостью: дрались даже на улице. Вызывавший на бой шел под окна своего противника, стучал палкой по тротуару и кричал: „Pereat (да погибнет) NN – собака, свинья!“ Вызываемый являлся, завязывалась драка, нако-

[3] «Буря и натиск» *(нем.)*

нец приходил педель, разнимал врагов, сажал их в карцер, чем и кончалось дело. Между грубыми непристойностями, модными в Гиссене, замечательны так называемые генеральные экскрементации, которые устраивались так: 20 или 30 студентов напивались порядком в пивной, становились перед домом, где жили женщины, и, по команде, со свистом начинали все вместе мочиться, как животные… Лихорадочная страсть к исписыванию тетрадей отнюдь не мучила гиссенских студентов. В других университетах я всегда находил завзятых тетрадеисписывателей, особенно в Галле; там студенты наполняли целые тома университетскою мудростью. Впрочем, и галльские студенты были очень грубы. В Йене у каждого бурша была так называемая „шармант“ – простая девушка, с которой он жил, пока оставался в университете, и которую, уезжая, передавал товарищу» (Шерр I, с. 496).

Но Тюбингенский университет отличался, по-видимому, нравами более просвещенными и гуманными. В нем, по словам Штрауса, «единомышленники – студенты и профессора – сообща подвизались на учебном поприще и сообща же решали все несогласия в области духа». Здесь устраивались настоящие ученые корпорации, со всевозможным тщанием штудировавшие Канта или лейбнице-вольфовскую философию. Не надо, однако, думать, что студенческая жизнь ограничивалась исключительно «преследованием интересов духа». Самые горячие споры об антиномиях совершались в непременном сообществе и присутствии пивных кружек, причем зачастую дуализм кантовой философии находил себе полное примирение во взаимных объятиях сначала разодравшихся, потом расцеловавшихся и, наконец, уснувших юных мудрецов. Если в Гиссене всякий, не поглощавший такого количества пива, которое способно привести в расстройство желудок не только человека, но и быка, считался «подлецом» и «идиотом», то в Тюбингене требования, предъявляемые доброму буршу, были гораздо умереннее и носили характер более интеллигентный. Общее философское движение века отразилось и на жизни учащейся молодежи. Не надо забывать, что университетские годы Гегеля относятся к той эпохе, когда философия совершала свои подвиги; когда кенигсбергский старик Кант со смелостью религиозного реформатора очищал от метафизической шелухи все области человеческого знания; когда Вольтер и Руссо, закончив свои работы, могли видеть, какими быстрыми, могучими волнами распространяется начатое ими движение во имя прав человеческой личности, ее ума, ее сердца и воли. А молодежь всегда отзывчива и восприимчива. Еще в 70-х годах XVIII века она интересовалась исключительно триединым принципом «Wein, Weib und Gesang» (вино, женщина и песня). Общее нравственное утомление окружающей ее среды, сухой педантизм в области знания толкали ее на путь трактирных подвигов. Но повеяло новым духом, общество встрепенулось и приободрилось, перспектива новой человеческой жизни– не совсем, правда, ясная, но заманчивая – открылась перед умами – и трактирные подвиги утеряли все свое прежнее обаяние. Если прежде говорить о науке и вообще о возвышенных предметах считалось непозволительным педантизмом и даже «подлостью», то теперь только такие разговоры и были в моде, только они и требовались. И великие, и малые подчинялись этому новому веянию; оно заставляло подтягиваться даже и глупых людей, оно зажимало рот всем, кто, несмотря ни на что, не мог сделать ни шагу вперед от прежних буршевских идеалов. Мы имеем даже свидетельство о том в высокой степени любопытном и назидательном обстоятельстве, что общий подъем духа и умственности отразился и на нравственных идеалах и привычках молодежи. Прежде, например, считалось совершенно естественным и даже необходимым, чтобы добрый бурш в бытность свою в университете заводил себе любовницу, а затем, закончив курс наук, пропитавшись высшими принципами философии, передавал ее, эту любовницу, эту бедную простую девушку (которую, кстати сказать, он нередко бивал), точно мебель, своему товарищу вместе с прочим ненужным хламом прошлой студенческой жизни. Но в философствующих корпорациях Тюбингенского университета царствовал не только подъем умственности, но и нравственных требований вообще. Отдельные личности доходили даже до ригоризма и

своим примером, своим строгим отношением к себе вызывали не только уважение, но даже подражание.

Легко предположить, что в философствующих корпорациях говорилось неисчислимое количество глупостей и едва ли хоть один вопрос разрешался в должном, с точки зрения истины, смысле. Но важно не это, важен вдруг нахлынувший (именно – *вдруг)* на жизнь германской молодежи подъем духа. Он сделал невозможным возводить в идеал юности трактирное времяпрепровождение, истребление пива, скотские отношения к женщинам. Он потребовал от человека ума, знания, а следовательно, и прилежных занятий, он одухотворил его интересы и нарисовал ему картину лучшей или даже хорошей жизни. Конечно, наивно думать, что все стали умны и что все добродушные, ограниченные (в большинстве случаев) бурши вдруг засверкали всеми цветами добродетели. Не надо забывать, что волна умственности нахлынула вдруг, нахлынула на почву, совершенно для нее неподготовленную, и, разумеется, не могла смыть сразу всей накопившейся грязи. Большинство только тянулось за духом времени, так сказать, «лебезило» перед ним и впоследствии, при перемене обстоятельств, с легким сердцем, не удручаемым никаким раскаянием, сделало крутой поворот налево-кругом и с подлою, опять-таки лебезящею усмешкою обливало помоями Sturm und Drang Periode (период бури и натиска) своей юности. Но и без всяких увлечений остается тот несомненный факт, что трактирные идеалы утеряли свое исключительное господство над умами молодежи и вместо них появились другие: сначала научной и философской истины, потом уже истины вообще, истины жизни.

Попав после строгой обстановки родительского дома в бурный и одушевленный кружок своих университетских товарищей, Гегель, по крайней мере на первое время, расстался со своими педантизмом и научностью. Он был не прочь в виде отдыха от философских рассуждений кутнуть слегка и поволочиться за «милыми и достойными представительницами слабого пола». Он любит, например, устраивать такие игры с фантами, в которых на его долю достается поцелуй какой-нибудь «розовощекой Гретхен», и даже «при устройстве таких игр выказывает некоторое нетерпение». Очень часто видим мы его в весьма уютной Bierhalle, принадлежащей одному из пяти миллионов немецких Мюллеров, куда его привлекают пиво, дружба и… маленькая, полненькая блондинка с удивительными синими глазками. По поводу этой блондинки мы имеем следующие данные, сообщенные почтительным и обстоятельным Розенкранцем. Она была, конечно, добродетельна; имела, конечно, мамашу, одаренную всяческими достоинствами; была красива, умна (вероятно) и, главное, обладала удивительными синенькими глазками. Видеть ее и говорить с нею, ввиду ее добродетели и мамаши, было вообще очень трудно, но судьба не была безжалостна к целому отряду влюбленных в удивительные синие глазки студентов. Добродетельная девушка имела привычку ежедневно в три четверти седьмого проходить через комнату, где сидели косматые и несколько подвыпившие уже бурши, направляясь в погреб за молоком, простоквашей или холодным габерсупом к ужину. Тут-то, во время, если можно так выразиться, прохождения тюбингенской Венеры через пивную комнату, и надо было ловить момент, то есть приветствовать белокурую девушку комплиментами, наскоро пожать ее хорошенькую молочную ручку и сунуть ей за корсаж свое – увы! – длиннейшее и скучнейшее стихотворение, начинавшееся обыкновенно эпиграфом из неудобоваримой для смертных вообще и совершенно непереваримой для слабого пола вольфовской онтологии. Как нам это доподлинно известно, Гегель принадлежал к отряду влюбленных и не пропускал ни одного вечера, чтобы не полюбоваться на красавицу. По его идее даже был устроен бал, на котором он неохотно танцевал и очень охотно, даже «с некоторым нетерпением», устраивал игру в фанты. История умалчивает, получил ли он на сей раз страстно желаемый поцелуй.

Не угодно ли заодно полюбоваться стихами Гегеля, написанными им в это время? Стихи эти недурно передают господствующее настроение юного философа:

Glüklich, wer auf seinem Pfad
Einen Freund zur Seite hat;
Dreimal glucklicher aber ist,
Wen sein Mädchen feurig küsst.
Счастлив, кто в жизни
Имеет около себя друга;
Но втрое счастливее тот,
Кого горячо целует его возлюбленная.

Вообще в лице Гегеля в этот период мы видим добродушного, неуклюжего, несколько сентиментально настроенного бурша, готового даже забывать лекции профессоров ради удивительных синеньких глазок, пишущего скверные стихи (мы привели лучшие), курящего скверный табак, пьющего прекрасное пиво и проявляющего свое веселое настроение в неудержимом раскатистом смехе, приводившем в ужас мирных тюбингенских граждан…

Но все же он не забывает своих обязанностей, и мы не раз видим его читающим проповеди, как это было принято на богословском факультете.

Вспоминая впоследствии о своих студенческих годах, Гегель в письме к Нитгаммеру говорит: «Мой отец имел полное основание быть недовольным мною». А между тем, это – единственные годы, которые способны привлечь к себе воображение биографа и читателя. Перед нами неоперившийся еще юный философ, отзывчиво и даже страстно откликающийся на призыв жизни. В этом эмбрионе, увлекающемся французской революцией, сажающем деревья свободы, дающем клятву «никогда не верить в то, во что верить приказано», мы лишь с величайшим трудом можем различить первообраз будущего угрюмого философа, властно и жестоко преследующего всякие уклонения от того пути, который он сам почитает истинным. Но этот эмбрион, несмотря на свои увлечения, на беспорядочность своей жизни и занятий, более близок нам, обыкновенным смертным, чем будущий властолюбивый педант, с таким презрением смотрящий на всякое служение чувству, на всякую борьбу во имя идеала, мелькнувшего перед разгоряченным любовью или ненавистью воображением.

«Мой отец имел полное основание быть недовольным мною», – говорит Гегель, и мы охотно соглашаемся с ним, встав на точку зрения господина советника вюртембергской счетной палаты. Но и сам Гегель не доволен своею юностью. Он бы желал видеть в ней более порядка и меньше разбросанности, свидетельствующей об излишней горячности чувства, впоследствии презираемого. К этой юности, однако, относится самое светлое воспоминание его жизни – дружба с Гельдерлином.

Они были сверстниками, обоим не исполнилось еще и двадцати лет, когда они поступили в Тюбингенский университет. Гельдерлин был поэт, и только молодость могла заполнить глубокое различие между его характером и характером Гегеля. Еще ребенком он начал писать стихи и, как истинный талант, писал их со свободной и смелой доверчивостью к своему сердцу и своей фантазии. Его стихотворения уже в юности отличаются чрезвычайной нежностью выраженных в них чувств. Он сильно увлекался поэмами Оссиана и Клопштока; с другой стороны, он заимствовал у великого Жан-Жака понятие о человеческих правах и радовался тому, что французская революция подготавливает осуществление гуманных идей. В своих гимнах он воспевал добродетель, свободу, любовь к отечеству и с поэтическим красноречием излагал мысли, заимствованные из «Contrat social». Он хотел быть поэтом свободы и человечности и, совершенно естественно, с ранней молодости питал глубочайшее уважение к своему земляку Шиллеру. Шиллер умел увлекательнее всякого другого выражать идеалы юношеского возраста, горячо нападал на грубые предрассудки своего времени и, вместе с тем, со своими возвышенными стремлениями и верованиями соединял склонность к

меланхолии и к разочарованию. Гельдерлин, как маркиз Поза, любил только человеческий род и поколения будущих столетий и рядом с этим чувствовал упорную, беспредметную тоску «по какой-то чудной, утерянной человечеством жизни».

В Гельдерлине было нечто большее, чем простая наклонность к благородной чувствительности или способность проливать умиленные слезы при таких высоких словах, как «свобода, равенство, братство и отечество». Он был болен своим воображением, боявшимся всякой действительности, чуждавшимся всяких реальных конкретных образов. Он любил только свои мечты, свои чувства, создания своей поэтической фантазии, высокие идеалы, но не жизнь, которая была вокруг него. Посмотрите на его отношения к женщинам: кто скажет, что это отношения здорового человека? Все достижимое или достигнутое, все воплощавшееся в формы обыденной действительности претило ему и вызывало какое-то болезненное отвращение. Он мог любить только платонически и ту женщину, владеть которой не представлялось никакой возможности. Слишком высоких, слишком обидчивых требований его сердца не могли удовлетворить ни один друг, ни одна возлюбленная. Однажды он написал: «Мне, вероятно, никогда не придется любить иначе, как в своем воображении», – и в этих словах ключ к пониманию его характера. Он любит фантастический образ гречанки Мелиты, «которая прелестна и священна, как настоящая жрица любви»; но так как действительность никаких «настоящих жриц любви не представляла», то земная любовь оказалась невозможной. Только однажды действительность пахнула в него своим здоровым дыханием, но и тут Гельдерлин остался верен себе. Он нашел «земное совершенство» – в лице матери своих воспитанников, женщине очень умной и нежно настроенной, но в то же время и недостижимой. Но это-то именно обстоятельство, что он никогда не мог вступить в обладание предметом своей любви, окончательно укрепило Гельдерлина в убеждении, что это – идеал. Он быстро взвинчивает себя без всякой меры, без всякого сострадания к здравому смыслу. Сюзетта Гонтар, тридцатипятилетняя дама, немедленно превращается в настоящую гречанку, в «священную жрицу любви». Он пишет страстные письма, в которых выражает желание обнять вселенную и человечество за доставшееся на его долю счастье—: созерцать совершенство.

Но и эта любовь оказалась лишь весенним лучом. Гельдерлин скоро опять погружается в меланхолию. Разрыв с действительной жизнью, отвращение от всего, что может дать земное счастье, приводят нашего поэта сначала к грусти, потом к помешательству. «Все противно, все гадко, все скверно в окружающей жизни!» – говорит Гельдерлин. «Нет народа более жалкого, чем немцы! – восклицает он в другой раз. – Вы найдете между ними ремесленников, но не людей; мыслителей, но не людей; священников, но не людей; господ и рабов, юношей и стариков, но не людей!» «Склад семейной жизни – глуп». «Политика – бессмысленна». «Человеку, как гусю, приходится стоять в современном болоте».

Такой разлад с действительностью мог повести или к борьбе с ее злом, или к обиженному удалению от нее, к бесполезным жалобам и полному разочарованию. Гельдерлин избрал второй путь и, конечно, погиб. Он бранится, проклинает, насмехается, когда сердце его обливается кровью, но не находит и признака силы в душе, чтобы проявить свое негодование в активной борьбе.

Варварство, варварство, – постоянно восклицает он. Но что же делать с ним? Неужели надо оставаться спокойным зрителем? Спокойным Гельдерлин быть не мог. Он тосковал, мучился и искал своего спасения в созерцании, в мире грез, идей, образов. Сильный талант, как Гете, сильный ум, как Гегель, уравновешенные натуры, как Гегель и Гете, могли рискнуть на это, то есть на примирение с жизнью, какой бы она ни была, лишь бы идеалы хороши были, но Гельдерлин погиб – «завядши без расцвета». Его тяжелая тоскливая жизнь освещалась только одним светом, который лился на нее из созерцания греческой древности. Гельдерлин был влюблен в Грецию. Я говорю «влюблен», потому что иначе не знаю, как охарактеризовать его чувства. Он был влюблен с полным отречением от своего «я»; он обожал

и любовался на свою красавицу, даже не думая ближе подойти к ней или приблизить ее к себе. Он был счастлив при мысли, что когда-то на земле существовала дивная страна, жизнь которой, полная счастья, полная силы, представляла гармонически целое, гармонически прекрасное. С ужасом, по всей вероятности, посмотрел бы он на человека, который предложил бы ему принять меры к восстановлению этой прекрасной древности на германской почве. Ему достаточно было одного созерцания этой жизни, которая вся представлялась ему как бы выточенной из белого паросского мрамора с дивными формами Венеры Медицейской. Во имя этой Греции он отворачивался от своей родины, совершая невольно, в pendant духу времени, один из самых тяжких грехов человека. Он видел вокруг себя пошлость и ничтожество, видел разрозненных, разбитых на мелкие части людей современности, преисполненных внутренними непримиримыми противоречиями. И с тихой грустью меланхолически созерцательной натуры он обращал глаза свои к своему божеству – этой спокойной и дивной в полном обладании своей красотой Греции.

> «В Гельдерлине, – говорит Гайм, – Гегель встретил, так сказать, живое воплощенное чувство древности». Под его влиянием в нашем философе с большею еще силою пробудилось детское влечение к классическому миру, когда Антигона оказывалась родственнейшею из душ, а слишком современный Вертер почти не производил впечатления.

Сойдясь на этой почве, они стали друзьями, вместе приветствовали французскую революцию, вместе клялись быть «свободными» людьми, гражданами того мира, где царит красота и гармония. Они дали однажды друг другу дивную клятву «жить для свободной истины, никогда не заключать мира с постановлениями, определяющими, что должно думать и что чувствовать». В этой клятве выразилась вся их бодрая, юношеская вера в самих себя, в свои молодые силы, достаточные для подчинения себе вселенной.

Трудно сказать, что нравилось Гельдерлину в малоподвижном, слишком рассудочном Гегеле. Как могли они быть друзьями, несмотря на резкую противоположность своих натур? Но, вероятно, Гельдерлина привлекало в нашем философе как раз то, чего не хватало ему самому: спокойная осмотрительность, осторожная логика и глубокая вдумчивость. Быть может, ему нравилось раскачивать это тяжелое тело своими одушевленными, полными восторга речами, тем более, что это удавалось ему как нельзя лучше. Под влиянием Гельдерлина Гегель написал даже стихотворение, – топорное, неуклюжее, но, несомненно, мечтательное, где он унижал современную пошлую действительность во имя дивной греческой жизни. Отношения к Гельдерлину были для Гегеля «святая святых», куда он удалялся после своих кутежей и праздного студенческого времяпрепровождения, особенным миром, где владычествовала свобода и красота, где фантазия и сердце находили себе полные права гражданства. Надо быть добрым и честным, не надо склоняться перед жизненной прозой, тем менее увлекаться ею, – говорил Гельдерлин, и Гегель *слушал* его, надо думать, искренне.

Мирные занятия Гегеля богословием, его невиннейшие развлечения вроде игры в фанты с целью получения поцелуя какой-нибудь Маргариты – Луизы – Каролины – Марии, или ухаживаний за хорошенькой белокурой девушкой внезапно были прерваны событием, сразу приковавшим к себе внимание всей Европы и даже всего мира. Мы говорим, конечно, о французской революции, начавшейся 5 мая 1789 года, если считать ее со дня созвания Генеральных штатов. Все лучшие и даже худшие умы Германии (например Гейнц) возликовали, и не было решительно никакого предела их восторгу. Клопшток и Форстер, Кант и Фихте – все с одинаково радостным сочувствием приветствовали начало всемирной трагедии. Клопшток сочинял свои возвышенные оды, в которых напыщенные и ходульные строфы были наполнены священными словами свободы и братства. Фихте оправдывал французов за все содеянное ими и смело говорил о праве народов, подыскивая ему десятки философских основа-

ний в своем гибком и идеалистически настроенном уме. Ликование на первых порах было всеобщим, и каждая театральная (увы, только театральная!) сцена, разыгравшаяся в Париже, находила себе восторженные рукоплескания по эту сторону Рейна. На всех перекрестках кричали о наступлении новой эры; о том, что пришло царство свободы и братства, и странно – совсем не маленькие дети, а взрослые люди находили какое-то особенное удовольствие в беспрестанном повторении возвышенных слов fraternité, égalité, liberté (братство, равенство, свобода) и в платонических восторгах перед ними.

Политическая наивность немцев была так велика, что французская революция даже после разрушения Бастилии (14 июля 1789 года) продолжала вызывать искренние рукоплескания в людях самых различных взглядов, самых противоположных стремлений. Все, по-видимому, сходились в том, что слова «fraternité» и «liberté» звучат очень громко, а главное – в своем полнейшем непонимании того, что происходило у них перед глазами. На революцию любовались, как любуются на начинающееся извержение. Огненные столпы на хмуром вечернем небе, глухой раскат землетрясений, облака пепла и дыма, носящиеся над кратером, очевидно, принадлежат к самым красивым зрелищам. И на него любовались, как любуются суровыми видами природы, гениальным произведением батальной живописи, драмой, возбуждающей высокие и прекрасные чувства. Читая речи ораторов Национального собрания, прислушиваясь к глухим раскатам громового голоса Мирабо, немецкие добродушные, идеально настроенные зрители рукоплескали знакомым актерам и актрисам. Чего бояться их? Мечи у них картонные, роли заученные, пистолетики хлопают сырым картофелем и, в крайнем случае, способны вызвать быстро проходящую шишку на лбу.

Немцы и раньше любили свободу, и раньше писали по ее адресу возвышеннейшие длиннейшие и скучнейшие оды. Но они любили ее как идею, как представление, и даже не подозревали, что она может сделаться фактом жизни. Соловей постоянно плачет о розе, немцы постоянно плакали о свободе, и одно слово «freiheit» (свобода) делало необходимой усиленную понюшку табаку и обхождение при помощи носового платка. Что говорить, приятно видеть на сцене героя и гибель героя. Это возбуждает высокие чувства; но было бы наивно требовать героизма от самого себя, в этой пошлой практической действительности! И к чему? Можно любить свободу и будучи холопом, так как свобода как идея существует сама по себе, независимо от жизни, а мысль о ней опять-таки возбуждает высокое настроение.

Слова вызывали восторги; действия, проводившие эти слова в жизнь, возбудили почти общее отвращение. За кратковременной порой ликования быстро наступила реакция, и целая туча проклятий посыпалась на голову ни в чем не повинных liberté, fraternité, égalité.

Такое непонимание революции, такое эстетическое или, вернее, платонически восторженное отношение к ее первому акту дает нам возможность отметить любопытную сторону тогдашнего немецкого характера. Мы говорим о странной способности жить в мире грез, вздохов, мечтаний, быть *там* благороднейшим человеком и находить свое полное утешение и счастье в этой несуществующей области. Принципы заоблачной сферы мечтаний и принципы действительности находились друг с другом в непримиримом противоречии, и такое противоречие не тревожило человека, а напротив, составляло необходимую принадлежность его спокойствия и благополучия. Самым искренним образом готов он был защищать всеобщее равенство, но упаси Боже, если бы кто-нибудь его, трибуна человечества, вместо надворного назвал бы титулярным советником. Радикализм мысли, мечтательное благородство, любовь к свободе мирно уживались с самой пошлой действительностью, с самым безукоризненным холопством в общественных отношениях. И если бы еще это было лицемерием, если бы это происходило от умственного убожества! Но в таком криминальном с нашей точки зрения противоречии повинны были первые люди несомненно великого и богато одаренного народа. И они, эти первые люди, рукоплескали революции до той поры, пока не

убедились, что она очень серьезно рассчитывает из области слов и краснобайства перейти в область поступков. Этих-то поступков, совершенно логичных с точки зрения принципа, возбуждавшего такие восторги, и не ожидали, а когда они появились на сцене, когда зрители убедились, что у героев разыгрывавшейся драмы не картонные мечи, не детские пистолетики, хлопающие картофелем, а настоящие дамасские отточенные клинки и целая артиллерия, заряжаемая настоящим порохом, – революцию возненавидели и прокляли почти все, кроме Фихте в Германии, Фокса в Англии и еще десятка им подобных.

Французская революция совершенно неожиданно для немцев, и также неожиданно для самой себя, попыталась примирить это противоречие, уничтожить дуализм жизни – идеи и факта, принципа и действительности. И так как эта попытка сопровождалась ужасно невежливым отношением к идеальному миру, то немцы глубоко обиделись и учинили единогласный концерт «протестующих». Конечно, праздник Разума, разрушение Бастилии– очень красивые зрелища, но праздник праздником, а гильотина ничего праздничного в себе не имеет.

Любопытно, что в исходной точке своей философии Гегель сошелся с французской революцией. Ему также было необходимо заполнить чем бы то ни было пропасть между идеей и фактом. Революция заполняла ее декретами и гильотиной, Гегель – диалектикой. Революция заявила, что принцип должен воплотиться в действительность; Гегель уничтожил дуализм, решив одним гениально смелым полетом мысли, что мир идеи и действительности – одно и то же, что никакого противоречия между ними нет и быть не может, что мыслимая свобода, красота и прочее – то же самое, что и реально существующее. Идея – вот она действительность, а другой действительности искать нечего. Поэтому тот, кто имеет идею свободы, – уже свободен; но, как резонно заметил Шопенгауэр, думать, что у меня в кармане 100 гульденов, и иметь в кармане 100 гульденов – совсем не то же самое.

Посмотрим, однако, как относился Гегель к революции. Молодежь горячилась. Мирные тюбингенские граждане с ужасом видели, что философически настроенные бурши дерутся из-за политических уже убеждений очень толстыми палками и поют «Марсельезу» с еще большим восторгом, чем прежде «Gaudeamus igitur». Устроился даже политический клуб, где Гегель был одним из самых ревностных, хотя и не красноречивых ораторов за права свободы и равенства. Целые ночи напролет проходили в ожесточенных дебатах, и отчеты Национального собрания комментировались с еще большим усердием, чем прежде «Онтология» Вольфа или «Теодицея» Лейбница. Кричали и волновались. Кричали на всех языках и волновались всеми фибрами души.

Гегель волновался не меньше других.

Существует даже предание, будто в одно дивное весеннее утро Гегель и Шеллинг вышли за ворота мирного Тюбингена с особенно торжественными лицами. Их плащи были надеты на манер греческих туник, в их руках находился небольшой зеленый отросток дерева. Пройдя недалеко от города, приятели остановились и, трижды провозгласив: «Vaterland und Freiheit» (отечество и свобода) – посадили в землю свое деревцо, которому, однако, не суждено было дать ростков. Они назвали его деревом свободы.

Приходится пожалеть, что у нас так мало подробностей об этом времени и о жизни политического клуба. Мы знаем только, что юношество увлекалось политикой как нельзя более горячо и что несогласие в убеждениях доводило до ссор сторонников различных мнений. Известно также, что громким «vive la liberté et périsse» зачастую по ночам нарушался мирный сон тюбингенских граждан, беспокойно вопрошавших себя: не приехал ли в город Марат или Фукье Тенвилъ. Неизвестно также, что стало с деревом свободы, посаженным Гегелем и Шеллингом, и на какую хозяйственную надобность оно пошло. Несомненно лишь, что через несколько лет Гегель сам бы срубил его еще с большим удовольствием, чем посадил.

Революционное увлечение в нем быстро сменилось не только реакцией, но и ненавистью к революциям вообще.

Увлечение Гегеля революцией продолжалось самое короткое время и ни к каким серьезным результатам не привело. «В нем, – говорит Гайм, – опять пробудилась его рассудительность и положительная сторона его характера, требовавшего во всем известной меры. Его приводили в ужас проливаемая террористами кровь и совершаемые ими насилия; но и независимо от всего остального для Гегеля уже было достаточно неизящной и эксцентрической обстановки революционной драмы, чтобы возбудить в его душе полное к ней отвращение. Вот почему мы можем следить за влиянием юношеского увлечения только до того времени, когда Гегель вскоре по окончании университетского курса отправился в Берн в звании домашнего учителя».

Будущий философ реставрации и абсолютного порядка отдал дань волнению юношеской крови, а затем вступил на свой собственный путь, не имевший ничего общего с практическими и конкретными стремлениями революции.

После пятилетнего пребывания в университете Гегель окончил курс наук и сдал экзамен на степень кандидата богословия. От своих профессоров он получил свидетельство в том, что он вообще молодой человек с хорошими способностями, но не отличается ни особенным прилежанием, ни большим запасом сведений, говорит плохо и может быть назван «идиотом» в философии. Прожив некоторое время у своих родителей в Штутгарте, он принял место домашнего учителя в доме г-на Штейгера фон Чуг в Берне.

Глава III

Берн. – Франкфурт-на-Майне. – Занятия политикой. – Переезд в Йену

Домашним учительством Гегелю пришлось заниматься целых семь лет (1793–1800). Сначала мы видим его в качестве «gouverneur des enfants de notre chér et fidel citoyen Steiger de Tschoug», затем как гофмейстера у франкфуртского купца Гогеля. Но что это за господа Гогель и Чуг, как относились они к гениальному человеку, жившему под одной с ними крышей, – мы не знаем. Этот семилетний период жизни Гегеля настолько скуден фактами, что Розенкранц, желая как-нибудь наполнить пустое пространство, со своим обычным педантизмом и обстоятельностью разбирает чуть ли не на двух страницах удивительно важный вопрос, курил ли Гегель. Но мы этот вопрос оставим в стороне и постараемся собрать воедино скудные факты и отдельные штрихи, относящиеся к этой эпохе.

Чуги принадлежали к аристократии, имели собственное поместье под одноименным названием «Чуг» и, надо думать, относились к Гегелю несколько свысока. Прожив возле них три года, он, однако, ни слова не говорит ни об одном из славных представителей этого славного рода. Мы знаем лишь, что ему приходилось играть иногда в бостон, что на вечерах бывали «барышни», но какие и зачем – неизвестно. Одинаково неизвестно, сколько было учеников и учениц у нашего философа, сколько часов в день он занимался и какое получал вознаграждение?

Конечно, все это мелочи и не из них одних складывается жизнь человека, тем более такого, каким был Гегель. Но нельзя пренебрегать и бытовыми подробностями, нельзя ограничиваться биографией одной «системы». Система – системой, но как забыть, что за ее геометрически правильными построениями скрывается живое существо, одаренное мускулами, нервами и весьма заметным властолюбием? Система развивалась «органически»; любопытно следить за ростом идей, за их разветвлениями, но не система же писала донос на Фриза, преклонялась перед французскими штыками и требовала самых строжайших полицейских мероприятий против «мальчишеского либерализма и философов чувства», пытавшихся пробудить общество от филистерского сна. А это, к сожалению, факты из биографии Гегеля, для объяснения которых не мешало бы знать бытовые подробности его жизни и проникнуть в глубь его личного характера.

Но эти интимные подробности в большинстве случаев отсутствуют. По мнению Розенкранца, «биография философа исчерпывается биографией его системы»; Гайм считает возможным отвести «Логике» или «Феноменологии духа» 20–30 страниц, а о семейной жизни вскользь бросить замечание, что жена Гегеля, Мария фон Гегель, была «лучшая из женщин». Почему – лучшая? Занятый феноменологией, Гайм – увы! – этого не объясняет.

Перед нами семилетний период, в который как будто бы ничего не было. Сам Гегель в своих письмах посвящает ему двадцать строк, Гайм исключительно дает историю умственного развития.

Надо думать, что в доме Чугов Гегель чувствовал себя не особенно хорошо. Он мог, конечно, утешать себя мыслью, что не ему одному приходится тянуть скучную лямку домашнего учительства, что домашними учителями были и Кант, и Фихте, и впоследствии Гербарт… Но все же недостаток свободного времени, отсутствие подходящего интеллигентного общества слишком ощутительны. Гегель жалуется, что не может следить за новостями философской жизни, что занятия не оставляют ему желательного досуга. Вероятно, он страшно

одинок, вероятно, эти де Чуги относятся к нему с некоторым пренебрежением. Волей-неволей ему приходится сконцентрироваться в самом себе и выбирать «le mieux possible» в несимпатичной обстановке.

Спасает жажда познания, давно отмеченное нами стремление к энциклопедичности. Гегель старается заниматься с прежним усердием, прежнею терпеливостью. Он изучает богословие, интересуется политикой, даже местным правом и податной системой, штудирует Канта и Фихте; но эти занятия, за исключением редких писем к Шеллингу, происходят в одиночестве, без живого общения мыслями, вдали от жизни вообще.

Система вырастает, отданная в жертву книгам и логике. Если и прежде в жизни Гегеля было мало дружбы, мало любви и молодости, то эти три года, проведенные в доме Чугов, сухи, как пемза. Отбыв эту повинность, Гегель перебрался во Франкфурт-на-Майне, в дом купца Гогеля, также в качестве домашнего учителя к его детям. Здесь жизнь его стала разнообразнее. Он опять в кругу образованных друзей и имеет возможность вести жизнь, более соответствующую складу своего характера.

Он занимается политикой. В нем еще бродят остатки прежнего либерализма. Так, например, одно из его сочинений озаглавлено: «Dass die Würtemberger Magistrate vom Volk gewählt werden müssen» (1798 г.). Здесь он требует, чтобы земские чины воспользовались во всей силе принадлежащими им правами. Ораторским тоном говорит он о необходимости «от грустной боязни, которая обязана действовать по непреложной необходимости, возвыситься до смелой решимости, которая сама желает чего-нибудь».

Но такое настроение, в котором, однако, все же преобладает желание понять, почему все так нехорошо, чем уничтожить это нехорошее, длилось очень недолго. Занятия политикой привели Гегеля к выводу, что «Германия– не государство».

Придя к такой весьма нелестной для патриотизма формуле, Гегель отнесся к ней с немного более горячим участием, чем к выводу дифференциального исчисления. «Германия – не государство», – и он на время махнул на нее рукой. Поняв, что x=0, он решил, что нечего с ним, значит, и делать. Он интересовался, пока не знал, почему это так. Найдя ответ на «почему», он успокоился.

Гегель счел нужным без борьбы, без всякого проявления активности *примириться* с этим тяжелым положением своей родины. Он решил разработать «природу до степени идеи», сделать себе «из изображения своего внутреннего мира своего постоянного собеседника». Не преобразованием политических условий германской жизни должен он добиться своего счастья, а путем совершенно особенным: при помощи метафизики он устроит в этом реальном мире и свой собственный мир, которым и будет наслаждаться как единственно удобным для своего существования.

Здесь уже Гегель виден во весь свой рост. Как энциклопедист он интересуется и политикой, пишет даже целые трактаты о местном праве и о податной системе Берна.

Повсюду он выказывает удивительную теоретическую мощь и удивительное практическое бессилие. Упорно останавливается он на вопросе «почему» и, подыскав ему десяток остроумнейших объяснений, успокаивается, так сказать, на самом пороге действия, как выражается Гайм. Стоит ему только столкнуться с действительностью, как его слишком логический ум начинает теряться и путаться, причем отсутствие всякого конкретного стремления сейчас же дает себя чувствовать. Трактуя о необходимости выборной системы, Гегель, однако, заканчивает свою работу словами: «Главное дело в том, чтобы предоставить право выбора сословию лиц независимых, просвещенных и честных. Но я не могу понять, какой род выборов может доставить такое собрание людей, даже предположив, что как активное, так и пассивное право избирания будет определено с крайней осторожностью». Несмотря на это недоумение, Гегель спокойно ставит точку.

Гегель в это время прекрасно понимал, что действительность скверна и удушлива. Он прямо говорит: «Германская жизнь не может оставаться в том состоянии, в каком находится теперь, потому что все существующее потеряло уже всякую силу и всякое достоинство, превратившись в явление чисто отрицательное».

Что же с этим делать? Так ведь жить нельзя; «ведь в тех, кто разработал внешний мир до степени идеи (попросту: *понял* его), есть жгучая жажда жизни; такие люди чувствуют потребность выхода из идеи в жизнь». Однако обстоятельства времени заставляют сосредоточиться исключительно на внутренней жизни, «а состояние человека, – говорит нам сам Гегель, – которого обстоятельства времени заставляют уединиться во внутренний мир, может быть уподоблено только беспрерывному замиранию…» Тяжелое это чувство, особенно для того, у кого есть жажда жизни, есть стремление выйти из идеи в действительность!

В Гегеле борются два начала: одно – критически выработанное представление об окружающей обстановке как самой скверной, ни с какими требованиями разума несообразной, словом, «чисто отрицательной»; другое взятое им на веру из античного мира представление о вселенной как о едином прекрасном космосе, проникнутом дивной гармонией художественного произведения. И чтобы примирить это противоречие, Гегель напрягает силу своего разума, чтобы спасти себя от безысходного отчаяния и найти себе в жизни тот уголок, где, несмотря ни на что, он может быть счастливым, какая бы жизненная скверность не окружала его, – он бросается уже открыто и бесповоротно в объятия метафизики. Там – возможное спасение. Метафизика должна привести в связь все существующее и представляемое; эту разрозненную, полную видимыми противоречиями действительность она должна объединить в одном *целом.* Задача сводится к тому, чтобы примирить факт и идею, представляемую красоту и существующую скверность. Не насилием, не активной борьбой с недостатками жизни можно сгладить это различие, нет: «Метафизика должна указать ограничениям их границы и их *необходимость в связи с* целым». Прежде всего надо примирить противоречие между идеей, представлением и явлениями действительности. Верный идеалистическому принципу Гегель утверждает, что существует только мысль и вне мысли не существует ничего. Это не человеческая мысль, а мысль Абсолюта, то есть мысль мира, стремящаяся к самопознанию на основании законов логики. Она, эта мысль, воплощает (противополагает) себя в различные конкретные формы, из которых каждая *необходима* для этого процесса самопознания. И все действительное *разумно,* так как *все* есть только стадия воплощения Разума на бесконечном, пути саморазвития.

Гегель поставил себе задачей примирить себя, свой внутренний мир с жизнью. Выработанное на почве классической древности миросозерцание давало ему конечный пункт для этой деятельности разума. При помощи диалектики вселенная должна была предстать как единое гармоническое целое, все части которого необходимо связаны между собой. Здесь все прекрасно не как нечто отдельно взятое, но как звено в бесконечной мировой цепи, как составная необходимая часть общей гармонии. И эта примирительная задача как нельзя лучше удалась Гегелю. Он не только искренне обманывался сам, но и целое европейское поколение смотрело на его систему, как на новое Евангелие. Конечная цель его усилий прекрасно изложена Белинским в период «гегельянства».

«Весь беспредельный прекрасный Божий мир, – говорит наш великий критик, – есть не что иное, как дыхание единой вечной идеи, проявляющееся в бесчисленных формах, как великое зрелище абсолютного единства в бесконечном разнообразии. Только пламенное чувство смертного может постигать в светлые мгновения, как велико тело этой души вселенной, сердце которой составляют громадные солнца, жилы – млечные пути, а кровь – чистый эфир. Для этой идеи нет покоя: она живет беспрестанно, то есть беспрестанно творит, чтобы разрушать, и разрушает, чтобы творить. Она воплощается в блестящее солнце, в велико-

лепную планету, в блуждающую комету; она живет и дышит в бурных приливах и отливах морей, в свирепом урагане пустынь, в шелесте листьев, в журчанье ручья, в рычанье льва и в слезе младенца, в воле человека и в дивных созданиях времени. Кружится колесо времени с быстротою непомерною, в безбрежных равнинах неба потухают светила, как истощившиеся вулканы, и зажигаются новые, на земле проходят роды и поколения и заменяются новыми; смерть истребляет жизнь, жизнь уничтожает смерть; силы природы борются, враждуют и умиротворяются силами посредствующими, и гармония царствует в этом вечном брожении, в этой борьбе начала и веществ…» Словом:

В вечном движенье,
В волнах бытия
Я опускаюсь, я поднимаюсь…
Жизнь и движенье – вечное море,
Смерть и рожденье —
В вечном просторе.

Остается одно – *созерцать* и… радоваться.

Закончим теперь обозрение внешних событий, относящихся к этому периоду. Обстоятельный Herr Розенкранц сообщает нам, что «15 января 1799 года умер отец Гегеля, оставив после себя пустое место в вюртембергской палате, но отнюдь не в человечестве. Гегель – это важнее – „получил в наследство 3154 гульдена 24 крейцера 4 пфеннига“. С этими маленькими деньгами он решился оставить домашнее учительство и попытать счастья на профессорской кафедре. Ему было 29 лет от роду; система в общих чертах уже ясно представлялась его умственному взору. Он был молод, здоров, как прежде, неутомим в работе. „30 лет от роду, – сказано в его паспорте, – ростом – 5 футов и 2 дюйма; волосы и брови темные; глаза серые, нос и рот средние; подбородок круглый; лицо продолговатое“.

Бывший его друг Шеллинг, профессор Йенского университета, с которым он теперь переписывался, обещает «употребить в его пользу свое влияние». Заручившись этим, Гегель едет в Йену, где его ждет дружба, кафедра и, быть может, слава.

Утомительные годы ученичества закончились.

Глава IV

Йена. Гегель и романтики

Переехав в Йену, Гегель немедленно очутился в самом избранном обществе. Йена – университетский город, где Фихте и Шеллинг читали свои лекции, Нитгаммер и Фихте издавали критический философский журнал, где работали и жили братья Шлегели, вокруг которых группировалась целая плеяда романтиков, – Тик, Новалис, отчасти Гельдерлин, Шлейермахер и другие. Жизнь была разнообразна и весела. Фридрих Шлегель вел полемику с Шиллером, удивлял всех и каждого своими злыми критическими статьями, любил свою Доротею и сочинял роман, который должен был положить начало новому искусству; Август Шлегель исследовал мифы; Новалис только что закончил ряд своих глубоко философских, дивно юмористических произведений и, к сожалению, саму жизнь. По всей линии шла оживленная перестрелка. Деятельность Шеллинга достигала своей кульминационной точки. Он энергично читал лекции в университете, работая своей гениальной головой на глазах у публики и у слушателей, удивляя тех и других своими быстрыми скачками от одного предмета к другому, от недописанного сочинения к новому; в журнале Нитгаммера он вел критический отдел в резко полемическом тоне, без пощады казня противников идеализма и своих старых врагов – ортодоксальных теологов, «умевших выбирать отдельные фразы из Канта в защиту своих мнений». Здесь же, в Йене, Шиллер нашел себе убежище и, отдаваясь поэтической деятельности, занимался некоторое время преподаванием истории и эстетики. Йена была как бы вторым местопребыванием Гете, куда он переселялся всякий раз, когда окончание какого-нибудь произведения требовало от него глубокого спокойствия души и свободного времени. Здесь великий и благородный Фихте вел с кафедры упорную борьбу с квиетизмом и пошлостью своего времени. Но энергичнее, деятельнее и заносчивее всех были, конечно, романтики. Это была компания людей даровитых, талантливых, иногда даже с признаками настоящего гения, как у Новалиса, решившихся во что бы то ни стало сказать свое новое слово, большее, чем слово Гете и Шиллера. Из-за этого «нового слова», еще не оформленного, передававшего скорее настроение, чем мысль, шла ожесточенная полемика, разделившая немецкую интеллигенцию на два лагеря: Фихте и Шиллера, с одной стороны, Шеллинга и романтиков, – с другой.

Нам необходимо сказать об этой полемике несколько слов, чтобы определить ту умственную обстановку, в которую попал Гегель после своего бернского и франкфуртского одиночества. Но метафизику и философские разногласия по их малой удобопонятности мы оставим в стороне, а посмотрим, чего добивались та и другая партии в нравственном отношении.

Начнем с Фихте. В своем «учении о науке» он признавал, что внешний мир, будучи *представлением* духа, не существует в истинном смысле слова, что в действительности он – ничто. Но если «не я», природа, не существует, то в чем же можно найти фундамент для мысли, то есть философии и деятельности? Этот фундамент – человеческое «я», то есть свободная и сознательная разумность, существующая только для себя, знающая только себя, так как больше ничего нет и все вещи – простое отражение деятельности духа. Поэтому «человек есть мерило всего», в нем самом – источник жизни и обстоятельств; природа и государственное устройство – только тень его индивидуального сознания, изменяющаяся по мере того, как растет, крепнет, приобретает свободу и ясность это самое сознание. Нося в себе такое священное, всеобъемлющее начало, можно ли отдавать его в рабство чему бы то ни

было, можно ли робко преклоняться перед жизнью, когда во главе всего стоят не обстоятельства, не условия, а личное самосознание? Отсюда очевиден переход к нравственной системе. В чем человек должен искать оснований для своей деятельности? В себе самом. Должен ли он считать что-нибудь высшим сравнительно с голосом своего разума? Конечно, нет. Может ли он бояться какого-нибудь авторитета, созданного верой или государственной жизнью? Но ведь авторитеты, социальные формы – не более чем «отраженная деятельность духа», и новая стадия этой деятельности предполагает и новые условия, новые формы жизни. Призывая к деятельности, к борьбе, Фихте всегда обращался к сознанию человека. Это сознание создало мир и государство, оно наполнило жизнь живыми конкретными образами, которые мы называем вещами; неужели же оно, этот божественный дух, может пресмыкаться в грязи и унижении, забыв свое величие, свое происхождение от эфира и солнца? Жизнь для идеи есть единственная истинная жизнь. Поэтому не трудно понять, что Фихте своей философией, своими высокими нравственными идеалами, все равно как Шиллер своей благородной поэзией, расположил к себе всех деятельных людей. Своими речами к немецкой нации он дал толчок, который обнаружился впоследствии в идеях и стремлениях, одушевлявших долгое время патриотически настроенную, стремившуюся вперед германскую молодежь.

Деятельные натуры примкнули к Фихте и Шиллеру. На стороне этих двух горячих и талантливых людей стояли все, кто принимал участие в судьбах своего времени и отечества. Они надеялись осуществить в действительности свои политические идеалы, в своих нравственных воззрениях твердо держались строгой морали Канта и Фихте и были проникнуты глубоким сознанием своей ответственности перед жизнью. Критическая философия Канта, популяризованная Рейнгольдом, давала их уму завлекательную свободу, приучила бесстрашно относиться к «неразложимым» понятиям, существующим в жизни в виде «неразложимых» форм и функций и, в сущности говоря, совершенно ниспровергала как протестантское правоверие, так и те формы бытия, которые прямо и непосредственно зависели от авторитета теологических представлений. Высокие этические принципы Фихте, его неподдельная горячая любовь к родине, его глубокое уважение к человеку, прямо вытекавшее из основных принципов его теоретической философии, наряду с упомянутым выше критицизмом Канта, создали целое поколение бодрых и энергично настроенных людей, находивших в поэзии Шиллера конкретные образы для своих идеалов, а в ранних произведениях Гете – голос страсти, сознание своего *человеческого* права на счастливую жизнь. Совершенно иное явление представляла из себя романтическая школа, богатая талантами и дарованиями, выставившая такого философа, как Шеллинг, таких поэтов-беллетристов, как Тик и Новалис, критиков вроде Шлегелей и так далее. Прежде всего надо заметить, что вся романтическая компания, за исключением самых выдающихся, терпеть не могла Шиллера, отвергала его поэзию, не совсем обоснованно чувствуя в ней революцию; с отвращением относилась к действительности и современности, любила природу, Средние века, скульптуру и Восток. Романтики постоянно стремились к подземной, надземной, но только не земной области, в царство видений и духов, к отдаленным временам и народам. Настоящее время и окружающую их жизнь они, вообще говоря, отрицали как пропитанные «прозаическим экономическим духом» или относились к ним с высочайшим презрением. Истинная жизнь – это жизнь поэтического творчества, созерцания образов собственной фантазии, проникновение в тайну мира. В скверной малодушной действительности, умеющей только «продавать дороже и покупать дешевле, – можно зачахнуть, задохнуться». Всеми способами надо убегать от нее… но куда? Тик посвятил одно из своих стихотворений людям, изнуренным реальностью и наслаждавшимся одними мечтами; Гельдерлин искал забвения в созерцании греческих идеалов; Арним писал стихи с той же целью, с какой курят гашиш; Фридрих Шлегелъ сидячую праздность индуса считал идеалом и в прозябании наподобие индуса видел высшее счастье. Только чудесное, только фантазия могут спасти человека от пут и

оков современности, и к этому фантастическому, чудесному, неестественному у романтиков была особенная, болезненная наклонность. Они верили в магию, предпочитали астрологию астрономии, так как первая «поэтичнее», и терпеть не могли XVIII век с его практическими задачами, его стремлением выяснять все, исходя из естественных причин. Рассудок оказывался «очень скучным и прозаическим», принцип «полезности» – ничем в сравнении со средневековым принципом «чести». Нет ничего более ужасного, как замкнуться в пределах конечного земного, забыв о всепроникающей тайне мироздания, и так далее.

Романтики хотели, чтобы жизнь была поэтичной, а человек – «эстетической личностью». Наперекор рационалистическому требованию *знания* они требовали *веры*. Когда впоследствии в лице Августа Шлегеля они выступили на политическую арену, то вся их проповедь ограничилась восторгами перед Средними веками, перед папством и единой империей, сословным строем общества и желанием водворить политически неподвижный status quo. В них была несомненная энергичная наклонность к квиетизму и созерцанию, оттого-то они и пристали так охотно к политической реакции. Одни преклонились пред господствующими силами времени и сослужили им немалую службу, отуманивая умы блестящими фразами. Другие кончили душевным расстройством, ударились в крайний мистицизм, как Шеллинг, сошли с ума, как Гельдерлин, или стали изуверами-католиками, как Фридрих Шлегель. «В среде романтиков фантазирование приняло самую опасную и отвратительную форму. Из корня романтизма возникло научное направление, не подчинявшееся требованиям критики, возникла политическая и религиозная реакция».

На первое время Гегель пристал к романтикам. Как другу Шеллинга ему готов был в кружке самый лестный прием, но это обстоятельство совсем не означало, что Гегель увлекался или мог увлечься дикими парадоксами Фридриха Шлегеля. Он был слишком «трезв», чтобы упражняться в романтическом пустословии. Но поступить иначе он не мог. Романтизм, как видел читатель, был только отраслью общего реакционного движения; своими парадоксами, своим стремлением к мистицизму он проповедовал отречение от деятельной борьбы с жизнью и созерцательное наслаждение своими чувствами, своей фантазией. Но когда надо было выбирать между Фихте и романтиками, Гегелю затрудняться не приходилось. Не он ли объявил, что Германия не государство, не в нем ли не было и йоты патриотизма или деятельной любви к ближнему! Он стремился примириться с жизнью, переработать действительность в прекрасную и гармоничную идею. По складу своего характера и ума Гегель прежде всего был созерцателем и квиетистом, а уж никак не активной натурой. Сливши *свои* разум с разумом вселенной, то есть Абсолютом, свои требования с требованиями всего мироздания, свои практические идеалы с идеалами государства, поглотившего личность, – Гегель мог предаться созерцанию той абсолютной гармонии, которая, по его мнению, царила во вселенной. К личности, к личному «я» он всегда относился с большим пренебрежением и если допускал его существование, то разве для избранных философов, преимущественно для себя, но уж никак не для всех. Политическая реакция и квиетизм не только не пугали его, а напротив, привлекали своим якобы все примиряющим совершенством, своим спокойствием. Не надо забывать конечного пункта его усилий. В теоретической области это было *построение* вселенной как единого прекрасного космоса, в практической – оправдание существующего как исторически необходимого, как логически неминуемого и неизбежного. Впоследствии защитники монархизма, конечно, европейского, не без удовольствия читали страницы о власти «il principe» в его «Философии права»; люди порядка и спокойствия, эти вечные поклонники выгодного для них status quo, во имя своих пошлых удовольствий и эгоистического торгашества с охотой принимали учение, в котором *понимание необходимости всего* исключало всякую решимость действовать, личность не имела права борьбы и протеста, на всяком лежала обязанность подчиняться существующему порядку вещей и уважать его, ибо он разумен уже потому, что все сущее есть процесс деятельности

разума. Люди усталые, – а их в это время было очень много, – готовы были именно вследствие усталости верить, что им не надо более бороться и добиваться высших целей; что, постигая с Гегелем разумную сущность свободы, обязанности и нравственности, они тем самым уже осуществляют все это в действительности.

Понятно поэтому, почему Гегель примкнул к романтизму. Если же он впоследствии и разошелся с ним, то не вследствие нравственного кризиса, потребовавшего борьбы и деятельности, а только из уважения к здравому смыслу. Романтизм выродился в бесплодное гениальничанье, в игру словами, в болезненное пристрастие ко всему чудесному, неестественному. Гегель не уходил от действительности, как романтики, он только оправдывал ее, только примирялся с нею.

Глава V

Йена. – Профессорская деятельность. – Отношения к Шеллингу

Переехав в Йену, как мы уже сказали, Гегель сразу очутился в самом водовороте германской умственной жизни. Университет, где ему приходилось начинать свою педагогическую деятельность, считался одним из лучших во всей стране; число студентов превышало тысячу, а о массе приват-доцентов нам известно, что они в одно и то же время читали по несколько параллельных курсов – до того их было много. Йена, несомненно, была центром, йенская философская кафедра, еще недавно занятая Фихте, обращала на себя всеобщее внимание. Сама философия обновлялась и привлекала лучшие умы. Кого из молодежи, толпившейся вокруг кафедр профессоров и жадно ловившей несколько туманные, но казавшиеся всеобъемлющими истины, не соблазняла упроченная уже слава Канта и Фихте, чье воображение не разгоралось при взгляде на Шеллинга, excellentissimus'а в свои 25 лет, знаменитого автора системы трансцендентального идеализма, почитавшейся многими за откровение? Философия занимала все поле умственной жизни, а точная наука, несмотря на только что сделанные ею великие открытия в области естествознания, оттеснялась на задний план, пользуясь разве уважением, к которому примешивалась доза высокомерия. Ум человеческий все еще стремился одним могучим порывом творчества объяснить себе сущее и пренебрегал терпеливыми усилиями скромных тружеников-экспериментаторов.

Гегель, философ par excellence, друг Шеллинга, имевший уже черновые наброски своей системы, мог, следовательно, считать себя счастливым: перед ним открывались лучшие перспективы, а полученное недавно наследство позволяло провести несколько лет самостоятельно, без скучных обязанностей домашнего учительства, без боязни за завтрашний день. Все его силы могли найти полное применение, и он, охваченный бодрой атмосферой, на самом деле сразу бросается в бой. Работает он неутомимо, как прежде, но это уже не скромная работа в тиши кабинета, а настоящее дело на глазах у всей Германии, быть может, всего человечества! Сначала, впрочем, ему пришлось написать диссертацию «pro venia legendi»,[4] чтобы получить право читать лекции. Весь материал был уже заготовлен раньше, и, поощряемый, с одной стороны, Шеллингом, с другой, – своим собственным желанием как можно скорее добиться кафедры, Гегель в первый же год своего пребывания в Йене защищает на публичном диспуте свое «De orbitis planetarum», где, отвергая Ньютона, обращается для своих астрономических соображений к гипотезе Платона, изложенной в «Тимее». Как истинный метафизик он выдвигает таинственный ряд чисел: 1, 2, 3, 4, 9, 16, 28 – и определяет расстояние между планетами сообразно его указаниям. Тут отметим маленькое обстоятельство, не оказавшее, впрочем, на Гегеля никакого впечатления. Рассматривая свой таинственный ряд, он пришел к выводу, что между третьей и четвертой планетами не должно быть никакого тела, так как в ряде для него нет соответствующего числа. Как вдруг, почти накануне выхода диссертации, одному из астрономов удается открыть Цереру в пустом, по указанию Гегеля, месте. Нисколько этим не смущаясь, Гегель остался при своем презрении к телескопу. Отметим далее, что 27 августа 1801 года происходил его «Habilitations disputation», то есть диспут правоспособности, на котором наш философ защищал следующие характерные для него тезисы: «Критическая философия бедна идеями»; «Форма скептицизма несовершенна»; «Основанием нравственности должно быть уважение к судьбе». Благополучно

[4] «для получения права чтения» *(лат.)*. О специальном сочинении, которое дает написавшему право чтений лекций в университете.

покончив свои диспуты, Гегель в 1801 году вывесил для студентов объявление, в котором писал, что в предстоящем семестре им будет прочитан курс лекций по философии вместе со славнейшим Шеллингом.

Оставляя в стороне вопрос о том, каков был этот курс, скажем несколько слов о впечатлении, производимом Гегелем в первые годы его профессорства. Впечатление – увы! – было не из лучших: большинство студентов решительно ничего в этих лекциях не понимало, многие должны были напрягать все свои силы, чтобы уловить хоть единую мысль в длинном и скучном ряде силлогизмов. Розенкранц прямо говорит, что на массу студентов Гегель не имел никакого влияния и его чтения были известны им лишь как редкий экземпляр полной неясности и темноты. Гегелю все давалось с громадным трудом, и сколько-нибудь сносным профессором он стал только через 20 лет в Берлине, да и тогда он без всякого сострадания обременял своих слушателей, требуя от них самого напряженного внимания и нисколько не заботясь о том, чтобы подогревать его. Во всяком случае, большинство студентов предпочитало Фриза или других приват-доцентов, а Гегелю приходилось довольствоваться почти пустой аудиторией. Не видно, однако, чтобы это особенно смущало его, и он всегда, находясь среди молодежи, бывал исполнен чувством собственного достоинства, позволив себе пошутить всего-навсего один раз за пять или шесть лет! Но в душе, быть может, у него накапливалось неудовольствие против счастливых конкурентов, и почему бы не искать здесь, в Йене, начала столкновения с Фризом, таким же приват-доцентом, но пользовавшимся популярностью, которое впоследствии окончилось так бесславно для нашего философа? Но это еще впереди, пока же Гегель читает свои не понятные никому лекции и напрасно старается разъяснить аудитории смысл дорогого его сердцу «Абсолюта». увы! Этот Абсолют, несмотря на все усилия, никак не хочет спуститься на землю и войти в головы слушателей. Из них только двое – Цельман и Сутмейер – считают себя гегельянцами и пропагандируют абсолютное, но едва ли особенно удачно.

Гегель требовал слишком многого от своих слушателей, и те совершенно основательно отвернулись от него, по крайней мере на первых порах. Он хотел, чтобы ему внимали, как пророку, принимали на веру каждую его мысль и почитали бы за высшее счастье на земле проникнуть сквозь колючую скорлупу формы до «мираже-образной», как ее называет Гайм, истины. Впоследствии Гегель действительно добился этого и имел в своем полном распоряжении целую аудиторию, не смевшую дохнуть, чтобы не упустить какого-нибудь самого незначительного звена в бесконечно долгой диалектической цепи. Но для йенских слушателей эти требования были преждевременны. Отметим при этом любопытную черту деспотизма мысли, которая так рано проявилась у нашего философа. Он твердо, безусловно был убежден, что каждое слово, исходящее из его уст, есть нечто подобное откровению, что основные принципы его системы ни в каких доказательствах не нуждаются, что кто не понимает его – тот полуидиот, пошляк, «тривиальный ум, опошлевший от собственной тривиальности». Гегель всегда считал свое дело оконченным, если ему удавалось изложить какой-нибудь вопрос, но он нисколько не заботился о том, чтобы сделать это изложение доступным. Для этого он как будто слишком презирал своих слушателей. Не только заискивать перед ними, но даже снисходить к слабости их понимания он не считал нужным. Свои редкие разъяснения он давал всегда почти с усмешкой, с легким отвращением, подчеркивая при этом, что если он и делает это, то только ввиду умственного убожества других. Единственно подходящими для него учениками были рабы, «с испугом замечавшие свое случайное, мгновенное невнимание», не только не спрашивавшие «почему», но и не смевшие сделать это. Очаровывая людей всеохватывающим гением своей мысли, Гегель в душе достаточно презирал их. Эту черту можно обнаружить даже в форме его чтения. «На профессорском кресле, – пишет его ученик Гото, – он сидел всегда утомленный и угрюмый, с поникшей головой, как бы *с неохотой* отделяя каждое слово, каждый слог; со швабским произношением

(от которого, кстати сказать, он никогда не стремился отделаться) ставил он особо каждое предложение, беспрестанно кашляя и отхаркиваясь и беспрестанно перелистывая огромные тетради». Для того чтобы нашлись преданные слушатели, надо было предварительно внушить, что все сказанное исходит от истинного гения. В Йене же, повторяем, этого условия не было.

К своим читателям, к своим слушателям Гегель не снисходил никогда. Он пренебрегал всеми общедоступными и элементарными приемами, чтобы стать понятнее хоть на йоту. Равно как один немецкий математик на вопрос, почему он не публикует решения одной важной геометрической проблемы, презрительно отвечал: «А пускай добираются сами, если хотят», – так, в сущности, поступал и Гегель. «Понимайте, когда можете», – как будто говорил он своим слушателям, нисколько не заботясь о том, что их головы полны противоречиями и недоумениями. Иногда он даже как бы нарочно сгущал туман, играя словами и разрешая себе настоящие логические фокусы. Во множестве мест «Феноменологии духа», «Философии права» и более поздних курсов Гегель беспрестанно переходит от отвлеченной формулы к ее действительному содержанию, приписывая отвлеченной мысли все свойства действительности, то есть факта, допуская для действительности всю гибкость и все переливы мышления. Но нигде он не говорит, какую часть его суждений должно понимать как допускаемую только для процесса мышления и какую – для мира действительного. От этого читатель и слушатель пребывают в беспрестанной опасности впасть в ошибку, принять одно за другое, приложить мысль в случае, где она неприложима. Отсюда бесконечные споры о том, как следует понимать и к чему относится то или другое выражение. Своего основного положения: истину должно рассматривать не только как сущность знания, но и как *существо* знающее (то есть здесь мыслимая и действительная природа отождествляются с мыслящим духом) – Гегель не доказывает нигде. Но из него выводились все следствия, во имя него обрушивались громовые критики на отсталых мыслителей, всякое сомнение в этом случае считалось непониманием, полуидиотизмом. Гегель в своей полемике никогда не становится на точку зрения противника. Как в критиках, писанных им' вместе с Шеллингом в Йене, так и позже он не признает права противника удерживать хотя бы временно свое воззрение, но опровергает возражения во имя тех самых начал, которые заподозрены.

Это ли не деспотизм мысли! Гегель и сам иногда признает трудности своей системы и говорит, очень редко впрочем, что для *обыкновенного* понимания некоторые его положения могут показаться странными и невероятными, что, пожалуй, их могут принять за шутку. В таком случае он «снисходит», дает кое-какие пояснения, предварительно заметив, однако, что для философского понимания все это ясно и понятно, как дважды два…

Но обратимся к его пребыванию в Йене.

Гегель встретился с Шеллингом как старый приятель; они оба поселились на той же квартире. У них были общие знакомые, оба участвовали в каких-то еженедельных философских обедах и оба ближе всего стояли к кружку романтиков. Если Шеллинга влекли в этот кружок не только общность убеждений, но и более нежная приманка в лице Августы Бемер, шестнадцатилетней красавицы – дочери Шлегеля, то Гегель, по-видимому, бескорыстно наслаждался обществом интеллигентных людей, слушая парадоксы Фридриха Шлегеля, добродушные замечания его любовницы Доротеи, всегда остроумные и язвительные речи «сплетницы» Каролины, жены старшего Шлегеля, и так далее. Тут же в Йене Гегель близко сошелся с профессором Нитгаммером, другом Фихте, слегка познакомился с Гете и еще кое с кем. Но на первых порах дружба с Шеллингом заслоняла все другие отношения. В эти дни – дни неуверенности в себе, незнания себя – в нем было столько бескорыстия, что совершенно свободно и искренне он отождествил философию Шеллинга со своей собственной и нисколько не усомнился выразить свои самостоятельно выработанные убеждения в простых и прозрачных формулах Шеллинговой «системы тожества».

К Шеллингу в это время он относился как к другу, увлекался блеском его гения, старался проникнуться его взглядами и «радостно» воспринимал их в себя, ибо они давали ясность и твердость его собственной слишком медленной и темной мысли. Он видел, что система Шеллинга во многих отношениях – его собственная, но свою, по крайней мере в это время, он не мог выразить с таким блеском и такою конкретностью. Поэтому-то он и увлекся, увлекся, как человек, лишенный дара слова, увлекается оратором, излагающим его собственные мысли. Шеллинг подсказывал ему то, что в неясных и запутанных образах копошилось в его собственной голове, чего он не решался высказать по своей слишком уже большой медлительности и осмотрительности. Гегель – и в этом особенность его гения – никогда не мог выразить только *мелькнувшей* мысли; чтобы сделать это, он предварительно должен был найти ей место во всей системе, связать ее с мириадой других мыслей. Шеллинг же был смелее; Шеллинг «учился на глазах у публики» и всегда гораздо больше заботился о новизне, оригинальности, чем об обстоятельности. Поэтому-то он и дал Гегелю готовую форму, которая для начала могла, по-видимому, вместить и собственную систему последнего. Оба действовали искренне, но Гегель впоследствии, слишком много говоря о своих разногласиях с философией Шеллинга, чересчур мало останавливался на том, чем он был обязан своему другу. А эта обязанность громадна; её можно сравнить лишь с обязанностью Платона перед Сократом и Аристотеля перед Платоном… Шеллинг выяснил Гегелю его самого.

Шеллинг – блестящий писатель, блестящий оратор, блестящий талант вообще. 25-ти лет он пишет уже свою систему трансцендентального идеализма и после Канта и Фихте становится первой знаменитостью Германии. Он работает порывами, свободно отдаваясь стремлению своего творческого духа, не особенно боясь противоречий, не особенно заботясь о том, чтобы придать цельность и строгую форму своей системе. Его философия блещет молодостью, изящной оригинальностью мысли, поэтическими образами, живой верой в самого себя и свои силы. Если метафизика вообще близка к поэзии, то, говоря о Шеллинге, очень трудно сказать, где начинается одна, где кончается другая. Очень сильный логический ум, Шеллинг, однако, не пользуется в полной мере своей замечательной способностью выматывать нить аргументов; он предпочитает сразу взять читателя в свои руки, сразу поразить его воображение, а затем уже совершенно просто и свободно приковывает его внимание своими блестящими парадоксами, своим аттическим остроумием и особенною способностью вводить читателя во все тонкости своего настроения, сначала веселого, жизнерадостного, полного юношеского задора и увлечения, потом – меланхолического и даже траурного. В этом отношении Шеллинга можно назвать вполне поэтической натурой. Его богатая творческая фантазия недолюбливает усидчивую работу, он всегда предпочитает угадывать, вместо того чтобы добираться до вывода путем медлительных и терпеливых усилий. В этом заключалась та особенность его натуры, которая помогла впоследствии Гегелю совершенно оттеснить его на задний план. Он всегда слишком надеется на свой гений, на свою удивительную способность делать самые разнообразные и остроумные сближения, скорее подчинять себе ум читателя, чем руководить им. Достаточно было Фихте в одной газетной рецензии и коротенькой брошюрке намекнуть на принцип своей философии, как Шеллинг на лету подхватывает его, делает из него самые разнообразные выводы и обращает его в свою собственность. То же – и это еще более любопытно – происходит впоследствии с естественными науками. С прозорливостью гения Шеллинг видит, что обновление философии должно явиться оттуда, из этой медленно нарастающей груды фактического материала.

Полный веры в самого себя, он набрасывается на нее и, нисколько не смущаясь разрозненностью материала, тогда еще совершенно необобщенного, создает целую натурфилософскую систему. Блестящие открытия Гальвани, Вольты, Пристлея, Кавендиша, Лавуазье овладевают его воображением. Но отнюдь не думает он идти по пути этих скромных тружеников. Презирая факт, Шеллинг верует лишь в силу дедукции, исходящей из немно-

гих непреложных принципов. Двух-трех лет отрывочных занятий естествознанием оказывается достаточным, чтобы построить философию природы. Перед вами настоящая геометрия: сначала аксиомы, на доказательстве которых Шеллинг не считает даже нужным останавливаться, затем теоремы и леммы. Факты приводятся в виде иллюстраций. О едва известном в то время электричестве, гальванизме и прочем толкуется, как о каких-нибудь проблемах логики; исследования нет – везде господствует силлогизм; опытная физика отсутствует, вместо нее – физика умозрительная.

Но в характере Шеллинга была и другая черта, не менее поучительная, которая, развившись, к бесплодным умствованиям его философии прибавила еще и бесплодно проведенную жизнь. Я говорю об отделении от действительности, о полном пренебрежении к ее практическим задачам и требованиям. В этом случае Шеллинг действует сообразно духу времени; он – одна из бесчисленных жертв этого убийственного разлада между внутренней природой человека и внешними условиями его жизни. Все равно как Гельдерлин сошел с ума, Фридрих Шлегель перешел в католицизм, так Шеллинг закончил мистицизмом. С этой точки зрения его биография особенно поучительна.

Уже в юные годы, после кратковременного увлечения революцией и борьбой с теологами, перевравшими Канта, основной заботой Шеллинга становится забота о примирении с жизнью. На языке того времени примириться с жизнью значило отказаться от нее. Всего 25-ти лет от роду (в 1806 году) Шеллинг, по словам Гервинуса, уже смотрит на мир сквозь тусклые очки какого-то высшего презрения к действительности, равнодушия и пренебрежения к ней. Натура страстная и впечатлительная, но не особенно глубокая, Шеллинг односторонне принял в себя лишь малодушие своего времени, ту обидчивость, которая возникала в душе от столкновения со слишком пошлой действительностью. В 1809 году, когда верующему или по крайней мере страстно стремившемуся к вере в возрождение народа Фихте казалось, что в Германии укрепляется общественный дух, Шеллинг уже преднамеренно закрывал глаза на современную историю, называл характер новейшего времени идеалистическим и утверждал, что господствующий дух времени есть стремление к внутренней сосредоточенности. Он ожесточенно ненавидел век просвещения и рационализма, считая его виновником революции, и с усмешкой посматривал на свои молодые годы, когда он, не особенно, впрочем, серьезно, думал практически помочь людям и сажал вместе с Гегелем деревья свободы. Теперь же, оставив свои мечты о спасении людей, Шеллинг стал заботиться исключительно о том, как бы самому спастись от жизни.

Таков был Шеллинг. Легко понять, как благотворно действовала на Гегеля его богатая творческая фантазия. Слушая его, Гегель понял самого себя и с воодушевлением работал рядом с ним. Философию Шеллинга он называл «нашей философией», в защиту ее друзья вместе издавали резко полемический журнал, являясь перед публикой одним лицом, так как, по примеру Шиллера и Гете в «Ксениях», они не подписывали своих имен под отдельными статьями. Этот йенский период – расцвет дружеских отношений между двумя философами, причем трудно даже сказать, кто получал больше выгоды из товарищества. У нас нет данных, чтобы решить вопрос, любили ли они друг друга, по крайней мере, любовь и дружба первых лет никогда не достигали той интенсивности, какой достигла впоследствии их взаимная неприязнь, а со стороны Шеллинга, как мы увидим, даже ненависть. Но в период, о котором мы говорим (1800–1803), Шеллинг покровительствует своему приятелю, считает его преданнейшим своим учеником, взваливает на него всю черную работу по изданию журнала и не замечает, что под тенью его собственной системы вырастает другая, более мощная, более наукообразная – система Гегеля, которой суждено было одержать такую полную победу над лучшими умами целого поколения. Но пока никакое предчувствие не тревожит Шеллинга. Гегель для него «lieber Freund» – дорогой друг, и нет еще намека, что lieber Freund

превратится в «den Alten vom Berge» (старика с горы) и «Haupt der Assassinen», то есть предводителя убийц или попросту разбойника, «укравшего *мои* философские принципы!»…

Но закончим эту главу еще несколькими фактами из биографии Шеллинга. Она полна не только психологического, но и исторического интереса; если угодно, пересказ ее можно закончить нравоучением: «Не уходи от жизни, так как за это ты будешь всегда наказан». И наказание, выпавшее на долю Шеллинга, особенно сурово. Гений, погрязший в счетах личного самолюбия, блестящий ум, запутавшийся в парадоксах и словесных построениях, горячее смелое сердце, закончившее свое поприще в полном отречении от мира, пожалуй, в ненависти к нему, – таков Шеллинг к сорока годам своей жизни, в полном расцвете сил и дарования. Обиженный скверной действительностью, ее филистерством, тупоголовым самодовольством маленьких людей и всеобщим боязливым лицемерием, Шеллинг попытался найти свое счастье в мире идей. Он повторил попытку Дедала подняться в страну эфира и солнца, но и его крылья оказались скрепленными воском.

Кроме общих исторических причин, заставивших Шеллинга, как и многих талантливых людей того времени, искать примирения с жизнью вне ее конкретных условий, – и в сфере его личного существования были обстоятельства, предопределившие, так сказать, его трагическую участь. Ранние смерти – сначала невесты (Августы Бемер), потом горячо любимой жены – развили в нем болезненную наклонность предаваться внутреннему созерцанию и в нем находить утешение от неудач и разочарований действительности. Появление на сцене Гегеля, неудачная конкуренция с ним из-за славы, из-за влияния только помогли психологии Шеллинга стать психологией обиженного человека; скромный, терпеливый друг, писавший когда-то такие почтительные комплименты, оказался на недосягаемой высоте славы и земного величия, а блестящий, возбуждавший такие надежды Шеллинг, признанный Гете и Фихте за истинного философа, должен был ограничиваться уважением специалистов. Жизнь слишком долго ласкала Шеллинга, чтобы он мог примириться с такою развязкой. Судя по своим первым успехам, слишком хорошо зная неотразимую силу своего таланта, он смело мог рассчитывать на то, что ему, а никак не Гегелю, обеспечены новые лавры и предстоит впереди еще более блестящая карьера. Он мечтал о единовластии в интеллектуальной жизни, что можно заключить уже по презрительному тону, с которым он обращался к своим противникам. Но судьба решила иначе. Чернорабочая упрямая натура Гегеля, выступив на сцену после долгих, даже утомительно долгих ученических лет, оказалась более мощной, более серьезной, чем эфемерно талантливая натура Шеллинга. И друзья стали врагами столько же из разногласия в области философских убеждений, сколько из-за соперничества, из-за желания занять первое место в области мысли. Гегель победил. Он стал духовным вождем и жрецом современности, в то время как Шеллинг добился только академических лавров. Чем победил Гегель? Конечно, вложенною в него терпеливою и настойчивою силой, приготовившей такой прочный фундамент для его системы. Блестящий, слишком легко воспламенявшийся и недолюбливавший серьезных предварительных работ ум Шеллинга поневоле должен был уступить этому гиганту логики, закованному в тяжелую броню всех современных знаний. Как ни остроумны, как ни поучительны были чтения Шеллинга о методе университетских занятий, тем не менее они не могли утолить своими блестящими общими местами жажду к истинной науке, которую они сами же возбуждали. В дальнейших произведениях Шеллинга место мысли уже заступает произвол, место доказательства – смелость. Это – чистые импровизации фантазии, случайно попавшие в область науки…

Игра в формализм философии тождества (тождество – основной принцип системы Шеллинга) была доведена до невероятного легкомыслия; в своих учениках Шеллинг развивал страсть к остроумным построениям и произвольностью своих выводов и положений прямо вел их к теософии и мистицизму.

По своей натуре Гегель был далек от этой гимнастики мысли, выливавшейся в жонглирование и остроумные фокусы. Стоило ему только освободиться от непосредственного влияния блестящей и талантливой личности Шеллинга, как в нем опять пробудилась трезвая рассудочность и неумолимая логичность. Он ясно видел, к чему ведет гениальничанье Шеллинга, и отшатнулся от последнего, почувствовав под ногами собственную почву. И победа не могла не оказаться на его стороне: афоризмы Шеллинга приковывали воображение, диалектика Гегеля всецело овладевала человеком и обращала его в преданнейшего раба…

Шеллинг не вынес этого удара, или вернее, бесчисленных ударов, нанесенных ему Гегелем. Его самолюбие было оскорблено до глубины, и эту обиженность самолюбивой, слишком ласковой и льстивой к себе натуры Шеллинг перенес во взгляды на жизнь вообще. Насквозь проникнутый реакционными воззрениями, он, однако, отрицал и саму реакцию. Всю современность, какой бы она ни была, он ненавидел и презирал как что-то такое, что своею суровостью оттолкнуло от себя его нежную и поэтически настроенную душу. Он не встал на сторону прогрессистов и не погиб вместе с ними, он не сумел явиться оракулом реакции, как это сделал его бывший друг. Капризно и малодушно оставил он борьбу с жизнью после первых же неудач и удалился в себя. В нем развилось какое-то taedium vitae.[5]

Любопытно для полноты картины посмотреть на последние усилия и последние скачки его отрывочной, но все же гениальной мысли.

От беспокойной деятельности окружающего мира Шеллинг удалялся мыслью в первобытные времена, как Гете на далекий Восток, как Шиллер в мир отвлеченных идеалов и несуществующей гармонии. Жертва реакции, он настолько проникся ее духом, что отказался даже от мнения, господствовавшего среди рационалистов, будто человечество постепенно возвышалось от темного инстинкта до разумности, будто нельзя указать пределов человеческому развитию, как учил Кондорсэ. Наоборот, он думал, что «люди значительно и всесторонне понизились сравнительно с первобытным своим состоянием, ибо в то время в их воспитании принимали участие высшие существа из породы *духов».*

После этого золотого века, когда хрустальные мосты были проложены между землею и небом, началось постепенное падение в темную пропасть, и небо отказалось от земли. Чтобы вернуть прошлое, нужны учителя, которые сознательно стремились бы к восстановлению первобытного совершенства и чистоты. И Шеллинг берет на себя роль такого учителя, охотно вместе с тем протягивая руку мистицизму. Даже саги древней мифологии о богах и полубогах он принимал за подлинные исторические факты. Он кончил мистицизмом и каким-то обидчивым, полным ненависти и раздражения отношением к людям. По его доктрине, мир не есть творение Божества, а лишь отпадение от него. Человечество страдает за совершенный им грех, и тоном аскетов XIV века Шеллинг предписывал людям умерщвлять себя для внешнего мира и восстанавливать нарушенное общение с Божеством.

Вот маленькая сценка из последних лет жизни Шеллинга, сообщаемая одним из наших соотечественников:[6] «Я долго искал его в Мюнхене, так как мне сказали, что он живет там. Но несмотря на все *усилия,* я не мог найти его. Случайно как-то попал я в Байрет и с удивлением встретил Шеллинга, торопливо пробирающегося по улице с толстой суковатой палкой в руках. Какое-то отчаяние и беспокойство выражалось на его старческом лице. Старомодный костюм, высохшая, истощенная фигура произвели на меня такое впечатление, как будто я увидел перед собой выходца из другого, давно миновавшего времени. Адрес его был тайной для всех, так что, будучи даже с ним в одном и том же городе, я все же не мог отыскать его. Да и к чему?» Итак, Гегель победил.

---

[5] Пресыщение жизнью *(лат.)*

[6] Рассказано по памяти

Глава VI

Философия и публицистика

Тут наши биографы, Гайм и Розенкранц, подошли, наконец, к созданию системы. Гегель-человек совершенно поглощается с этой минуты Гегелем-философом, и его личная жизнь исчезает за геометрически правильными построениями его мысли. «Система» занимает всю сцену; перед нами ее развитие, ее постепенное нарастание, ее диалектические, логические и иные кризисы, в промежутках между которыми Гегель как бы впопыхах успевает есть, пить, спать, рассориться с Шеллингом, жениться и так далее. С точки зрения биографов, все это недостаточно важно и даже как будто унизительно для такого мыслителя, как Гегель. Почтительный Розенкранц, впрочем, не так строг и не осмеливается пропустить ни одного из известных ему фактов, но в представлении Гайма Гегель, очевидно, обращается в какую-то логическую машину, вытягивающую бесконечно длинную диалектическую проволоку из куска стали. Передавая редкие факты, Гайм торопится и будто даже просит у читателя извинения за то, что осмеливается остановить его внимание на таких незначительных вещах. Возле «Системы» сосредоточивается весь его интерес, а биография Гегеля является предметом как бы совершенно посторонним. Конечно, и такая точка зрения имеет право на существование. Что нам за дело до того, в каком камзоле ходил Гегель, как он любил, как занимал у Гете по три или четыре рубля на пропитание, вел тетради, в которых очень обстоятельно записывал все истраченные им пфенниги и крейцеры на табак (er schnupfte sehr stark), молоко, масло и редкие бутылки вина, как, наконец, совершил он некрасивые в нравственном отношении вещи.

Точка зрения «Procul profani!»[7] имеет, конечно, свое основание, особенно в наше время, когда маленькое самолюбие и лилипутское тщеславие находят свое удовлетворение в мысли, что «и великие люди, при тщательном рассмотрении, оказываются маленькими и лилипутообразными». «Бэкон брал взятки, Платон ездил на поклоны в Сицилию, Декарт струсил перед Сорбонною», – думает лилипут и радуется, так как это для него понятно и сам бы он с удовольствием проделал то же самое. Иногда даже проявляется особенное наглое пристрастие к развенчиванию всяких гениев, придирчивое отношение к фактам их личной жизни, выискивание всяких некрасивых подробностей, и надо прямо сказать, что подобное сыщицкое отношение к земному величию просто отвратительно. Из того факта, что Бэкон брал взятки, никак ведь не следует, что его «Novum organon» – «подлая вещь», и буржуазно-добродетельному лилипуту, несмотря на всю его добродетель, несмотря на то, что и к взяткам-то он относится с самым искренним негодованием и в рот не берет хмельного, никогда ничего подобного не сделать. В оценке великих людей точка зрения личной их роли должна отступить перед точкой зрения той пользы, которую они принесли человечеству.

Конечно, наше нравственное чувство оскорбляется, встречая в земных кумирах недочеты, недостатки, уклонения от пути добродетели. Кто бы не пожелал соединить в одном лице смелость Галилея и силу мысли Декарта; кто бы не преклонился перед Бэконом, будь он хоть немного похож на Спинозу или Джордано Бруно в нравственном отношении, – но если мы и правы в душе, требуя от человека не только силы мысли, но и нравственного величия, все же отсутствие последнего, слишком, к сожалению, частое, не должно закрывать наши глаза перед заслугами гения. Мы можем перестать его любить, но малодушно отвер-

[7] «Прочь, непосвященные!» *(лат.)*

нуться от его заслуг, так как он брал взятки или a la Вольтер приравнивал Людовика XV к Траяну, было бы несправедливостью. Гений, берущий взятки или ползающий ради какой-нибудь ленточки, может обижать нас, но есть пределы этой обиженности, все равно как есть пределы восторгам перед скромной добродетелью и незаметным существованием без всяких уклонений с пути. Нет никакой возможности быть пуристом и отвергать величие во имя недочетов нравственности. Это слишком односторонне, но и другая противоположная точка зрения несправедлива: нельзя рассматривать только общественные заслуги, нельзя забывать, что истинно человеческая личность должна быть нравственно велика.

Какое же право имеет Гайм отделываться пятью-шестью анекдотами, если биография Гегеля принимает нравственно несимпатичный оттенок? Это тем более нелепо, что Гегель был не только философом, но и настоящим практическим деятелем, вождем современности столь же в ее теоретическом, сколь и в практическом отношении, и игнорирование фактов интимной жизни Гегеля заставляет Гайма прибегать к слишком натянутым толкованиям его неблаговидных поступков. Кроме развития системы, в жизни Гегеля есть еще и другое: эта система становится ортодоксальной с точки зрения департамента берлинской полиции, и нам, при одном непременном условии – не забывать величия Гегеля как мыслителя – нечего остерегаться, нечего прятать и затушевывать грустные факты.

Но сначала несколько слов о самой системе.

Несомненно, что она была продуктом ума первой величины. Если не считать Аристотеля, то никогда ни до, ни после Гегеля ум человеческий не задавался такой грандиозной задачей – свести все факты жизни к одному общему началу и сковать все разнообразие явлений цепями самой строгой, могучей диалектики. Для Гегеля не существует факта, на котором он остановил бы свое внимание как на отдельном феномене, – он всегда рассматривает факт в связи со всей вселенной и не успокаивается до той поры, пока не найдена эта связь, пока факт не исчез как индивидуум в общем потоке мироздания. Философия Гегеля – это энциклопедия всех наук, стройная система, в которой нашла себе место вся совокупность человеческих знаний. Перед нами не юрист, не филолог, не естествоиспытатель, даже не философ, а нечто большее – гений, попытавшийся ответить сразу на все религиозные, нравственные, политические вопросы человечества, найти разгадку всех загадок, тревожащих наш ум со времени мироздания, и охватить человеческую жизнь не только в теоретической области мышления, но и в практической сфере его деятельности. В системе Гегеля человек нашел свое место в природе, обществе, государстве, семье. Его система – не синтез знания, а синтез жизни вообще. Оттого-то некоторые присваивают ей эпитет «религиозная». И действительно, она была истинной религией разума.

Чтобы ее понять, надо знать ее исходную точку. Этой исходной точкой было созерцание вселенной как единого прекрасного целого, в котором нет ничего непримиримого, нет даже борьбы, а есть только развитие, постоянный переход одной формы в другую. Свой идеал жизни, выработанный на изучении греческих образцов, идеал чисто эстетический, Гегель перенес и на свою систему. Ему хотелось представить в ней все существующее, всю вселенную как единицу, как одно гармоническое целое, как организм, проникнутый и одушевленный одной жизнью, и представить так, чтобы всякий не только понял, но и живо почувствовал всю красоту и прелесть этого дивного космоса. Гегель приступил к развитию своей системы после основательного изучения науки, обстоятельно усвоив себе большую часть современных ему знаний и исследовав состояние и положение общества, среди которого он жил. Он обращался к своей системе с чисто научными требованиями. Как безусловный философский догмат разъяснял он единство и тождество всего существующего, но в то же время с чрезвычайным напряжением всех душевных сил старался обнять мыслью связь всего и показать, в чем именно заключается и состоит это единство, чем одно явление соединяется с другим, что в каждом из них есть общего, – хотел постигнуть и уразуметь процесс,

посредством которого все развивается одно из другого, подметить общий жизненный элемент, который проникает и одушевляет все. И это нужно было сделать так, чтобы тут не явилось ничего произвольного, тем более нелепого или несообразного, отчего с отвращением отвернулась бы человеческая мысль; чтобы везде были доказательства или хоть соображения и догадки, обязательные для мысли и удовлетворяющие ее. Признайте только нигде *не доказанное,* а только высказанное и в сущности нелепое положение, что все сущее есть логическое понятие, как это сделал наш философ, и для вас не будет существовать более никаких вопросов. Раз Абсолютное (все) есть бесконечно диалектическое, то оно может возникнуть и развиваться лишь по программе Гегеля. Он не объяснил мироздания, но создал новый мир, мир, где все стройно, законосообразно, логически необходимо. Он действовал не как естествоиспытатель, а как поэт и художник. Он создал свою геометрию, но эта геометрия не приложима к нашей вселенной; это, если угодно, геометрия псевдосферы, четвертого, пятого или какого там измерения. Система Гегеля не объясняет нам в действительности ни одного закона или явления природы, а только законы мысли.

Вся она построена на понятии Абсолюта и представляет историю его развития. Этот Абсолют – разум, стремящийся к самопознанию.

Пройдя различные стадии, начиная с низших, Абсолют воплощается, наконец, в человечестве. И Гегель дает нам стройную картину его истории. Вся история вытянута в струнку. Каждый народ в свое время является воплощением Духа, который и пользуется им, его жизнью для достижения своей цели: реализации свободы и самосознания. Всемирная история начинается на востоке, там детство человечества; там есть идея свободы, но эта свобода признается только за *одним.* Греция уже знает свободу некоторых. В ней проходит юность человечества. Это время прекраснейшего, но скоропроходящего расцвета. Римское царство есть зрелый возраст истории. Здесь индивидуумы приносятся в жертву всеобщей государственной цели, однако взамен этого, в силу образования частного права, они получают *личность.* Но только германский мир знает, что свободны все. Его история – завершение истории человечества. Только в нем осуществляется цель всемирной истории, то есть реализация понятия свободы и самосознания. Но это лишь общая картина. Гегель стремился к тому, чтобы в своей системе объединить все знание, все верования, все стороны жизни человека. В «Феноменологии духа» перед нами формы развития человеческого сознания, история образования индивидуального духа, ее связь с историей духа всеобщего Абсолюта. В «Логике» изложен знаменитый диалектический метод, который и есть закон развития всего. «Энциклопедия философских наук» объединяет современные Гегелю знания с точки зрения его принципа. Мы имеем еще философию права, религии, искусства, истории, чтения по истории философии. В этих чтениях разработаны, между прочим, и практические вопросы жизни человека, его поведения, его отношения к семье, государству и прочее.

Нам теперь отчасти понятны как величие системы Гегеля, так и тайна его успеха. Он давал человеку ответ на *все* вопросы: это наибольшее, что может сделать не только философия, но и религия. Но обратим внимание и на другое обстоятельство. Гегель, – что бы ни означали его уклонения, – воспитал юношество в религии разума. Никогда не забывал он вполне обещания, данного им Гельдерлину еще в молодые годы: «Жить лишь для свободной истины, никогда не заключать мира с постановлениями, определяющими, что должно думать и что должно чувствовать». «Разум есть высший орган понимания, самая жизнь есть деятельность разума». Всемирная история являлась для него реализацией понятия свободы. Он оправдывал догматы заключенным в них философским содержанием и тем приучал искать в них только философское содержание. Тысячи молодых людей старались проникнуть в таинственные термины новой религии, основным требованием которой было: «Все надо понять, все надо объяснить». Среди диалектических тонкостей нередко мелькали мысли, которыми Гегель умел так глубоко проникать в сердца своих слушателей. Под их влиянием росла вера

во всемогущество разума, строящего государства и религии, а следовательно, и разрушающего их. Росла мысль слушателей, росла их жажда исследования и жажда истины, переходя через все явления природы и духа. И вдруг под спокойной пеленой отвлеченного мышления, которое, по-видимому, удовлетворялось само собой, зашевелилась критика. Шумно вырвались на волю молодые гегельянцы. Разум в их руках был всеразрушающим мечом, под которым рухнули самые крепкие предания. Фейербах провозгласил поклонение человеку. Общественная мысль крепла прямо под влиянием философии Гегеля, и когда старик Шеллинг после его смерти взошел на берлинскую кафедру со словами отступничества и мистицизма, он встретил грозную фалангу людей, выросших с верою в разум и преклонявшихся перед ним одним. «Гегель был камень Кроноса, – сказал один из его последователей. – Философия Гегеля не знала никакого мистицизма, а его диалектика служила реакции, как могучий Геракл служил ничтожному Эвмену, в душе презирая его и чувствуя себя бесконечно выше».

Только с этой точки зрения нам и понятно появление так называемого левого, то есть радикального, гегельянства.

В 1803 году Шеллинг уехал из Йены в Вюрцбург, и с той поры Гегель начинает серьезно задумываться над мыслью, как бы и ему перебраться из этого города. Йена «tantorum virorum orba», то есть «осиротевшая после стольких мужей», потеряла для него всякую привлекательность. К тому же заставляли призадумываться и денежные обстоятельства. Получая по полтора талера с каждого своего слушателя, Гегель решительно не имел чем жить. Отцовское наследство приходило к концу, и в перспективе была если не голодная смерть, то голодное существование. Молодой бедный профессор, с осунувшимися щеками, в коричневом сюртуке, запачканном табаком, в скромном помещении из двух комнаток, поддерживаемый только верой в свой гений, – таким представляется нам Гегель в это время. Зачастую ему приходится сидеть совершенно без гроша; он вынужден даже обращаться за помощью к Гете, который ссудил его *шестью* талерами на пропитание. К 1805 году относится почтительнейшее прошение, написанное им «к начальству», где Гегель, указывая на свои заслуги, покорнейше просит назначить его экстраординарным профессором. Начальство снизошло к его просьбе, но – увы! – наградило лаврами без карпов: Гегель получил экстраординатуру, только без жалованья. В его письмах в это тяжелое время то и дело звучит почти отчаянная нота. Он не знает, что делать, как справиться с этими ужасными материальными затруднениями, несмотря на всю скромность своих требований к жизни. Он обращается к Нитгаммеру, Шеллингу, самому Гете, и все эти обращения сводятся к одному и тому же: «Помогите!» Он думает о кафедре в Гейдельберге, о кафедре в Эрлангене, – о какой угодно, лишь бы избавиться от постоянной, проклятой нищеты. Вместе с тем он горд, с одной стороны, как профессор философии, с другой, – как представитель величайшей науки, науки всех наук, избранным жрецом которой он считает себя самым искренним образом. Надо вчитаться в его письма за это время, чтобы проникнуть в его обиженную и вместе с тем гордую душу. Очевидно, что ему совестно просить и совестно постоянно надоедать своим приятелям рассказами о материальных затруднениях; но он не видит, как иначе помочь горю, и отрывочными фразами, в которых как будто отражается краска стыда, покрывающая его щеки в эту минуту, говорит о талерах, крейцерах и пфеннигах, стараясь спрятать свои сетования за философскими рассуждениями. Боязнь перед завтрашним днем и гордость великого человека, инстинктивно верующего в свой гений, борются в нем ежеминутно, придавая его переписке вообще несвойственный ей нервный и отрывочный характер. В душе он, по-видимому, твердо убежден, что он, Hegel, Prof. der Philosophie, имеет твердое, неотъемлемое право на жизнь, а между тем действительность в образе проклятой нищеты ежеминутно опровергает это положение и рисует какие-то скверные перспективы заброшенности, голода, невозможности довершить до конца начатое, несомненно великое дело создания своей собственной системы. В области идеи, в области философской мысли Гегель уже при-

мирил все. Он искренне веровал, что вселенная прекрасна, что она – одно гармоническое целое, единое дыхание вечно живущего духа. Но как в этом прекрасном целом найти место Фридриху-Вильгельму Гегелю, экстраординарному профессору Йенского университета, не получающему ни гроша, кроме скромных подачек от ближних своих?

Конечно, этот вопрос принадлежит нам, а не самому Гегелю. Он был слишком раб своей логики, своей мысли и идеала, чтобы заподозрить их истинность. Ни в эту и ни в какую другую эпоху его нимало не тревожит противоречие между личным несчастьем и гармонически прекрасной вселенной. Он как будто не видит этого противоречия, и даже факты его собственной жизни, достаточно внушительные с нашей точки зрения, проходят для него как бы совершенно незамеченными. Будь на месте Гегеля живой, чувствующий человек, этот тяжелый период собственного голодания и унижения своего отечества, завоеванного французами, должен бы послужить стимулом и для философского кризиса. Но с Гегелем этого не случилось. Гегель голодает, французы бомбардируют Йену, нищета растет, «отечество перестало существовать», а Гегель пишет свою «Феноменологию духа», где доказывает, что «весь беспредельный прекрасный мир есть не что иное, как дыхание единой, вечной идеи, проявляющейся в бесчисленных формах как великое зрелище абсолютного единства в бесконечном разнообразии».

Повторяю: непонятное для нас, практически мыслящих и чувствующих людей, и составляет индивидуальность Гегеля. Поставьте на его место живого, страдающего страданьями ближних своих человека, и он сразу перевернет всю систему не в ее диалектических основаниях – это и Гайм может сделать, – а в ее практических всегда примиряющих выводах. Возьмите Белинского. Он тоже был гегельянцем, и даже самой чистой воды. Он тоже находил свое счастье в созерцании мира как единого прекрасного космоса и забывал не только себя, но и людей вообще ради таинственного Абсолюта; однако когда в нем заговорило ободрившееся сердце, когда деятельная любовь к людям проснулась в его благородном, измученном сердце, он, хотя и в шутливой форме, нанес всему гегельянству и всем гегельянским мудростям неотразимый удар. В письме Боткину он пишет: «Ты, я знаю, будешь надо мной смеяться; но смейся, как хочешь, а я – свое: судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира. Мне говорят: „Развивай все сокровища своего духа для свободного самонаслаждения духом; плачь, дабы утешиться; скорби, дабы возрадоваться; стремись к совершенству, лезь на верхнюю ступень лестницы развития, а споткнешься – падай, черт с тобою, таковский и был сукин сын!“ Благодарю покорно, Егор Феодорович Гегель, кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всем подобающим вашему философскому филистерству уважением честь имею донести вам, что если бы мне удалось влезть на высшую ступень развития, – я и там попросил бы вас отдать отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и прочего и прочего, иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою. Я не хочу счастия и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих собратий по крови… Говорят, что дисгармония есть условие гармонии: может быть – это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить своею участью идею дисгармонии».

До всех этих жертв дисгармонии Гегелю не было ни малейшего дела. Если личные неудачи раскрывали сердце Белинского для любви ко всем ближним, ко всем обездоленным, то в Гегеле они, напротив, развили и так уже бывшие в нем душевную сухость и скрытое высокомерие. Он голодает и пишет книгу, где рассматривает мир с точки зрения эстетического фатализма. В сотне страниц нет ни одной протестующей строчки. Все чинно, благородно, гениально. Ни на минуту не забывается, что «reverentia fato habenda est principium scientiae moralis» (уважение к судьбе есть основание нравственности). Всяко бывает, и это, если угодно, понятно. Удивительно, конечно, как это голодающий человек находит вселен-

ную прекрасной и гармоничной, не находит в ней ни одной темной черточки, но – всяко бывает. Есть, однако, и непонятные вещи.

Австрия покорилась французскому оружию в 1805 году, а Пруссия – в 1806. Гегель – немец, успокоившийся на мысли, что Германия – не государство, и знать не хочет ничего более. В отечестве, завоеванном французами, он находит только одни интересы – своего философского творчества, своих собственных манускриптов.

Перенесемся в 1805 год, в октябрь, в Йену. Римско-германская империя пала; на ее развалинах возник рейнский германский союз под диктатурою французского императора. Наполеон раздавал своей семье короны, владения, народы. Последнее Германское государство, еще вооруженное, готовится встретить завоевателя. Возле Йены должна разыграться одна сцена великой драмы. От этой битвы зависит участь Германии. Если пруссаки разбиты, то германцы будут только одним из «двадесяти племен», прикованных к колеснице сына судьбы. Гегель в Йене. Перед его глазами проходят гордые прежними победами французские колонны, чтобы завтра сражаться с пруссаками. В то же самое время Гегель послал рукопись «Феноменологии» своему приятелю Нитгаммеру. Он выражает в приложенном к ней письме безграничную заботу, но не о Германии, не об участи отечества; нет, он боится одного, чтобы трудная работа не пропала ввиду «прискорбных беспорядков» времени. Он пишет это письмо накануне решительной битвы и вместе с тем выражает свои восторги перед Наполеоном. Он, оказывается, видел императора – эту мировую душу, «Weltseele». Можно бы, казалось, ожидать, что присутствие врага отечества, прошедшего с победоносным войском всю Германию, расшевелит сколько-нибудь патриотическое чувство Гегеля, что немец-шваб на минуту признает немца-пруссака своим братом. Ничего подобного нет. «Это в самом деле чудное чувство, – пишет он, – когда видишь подобную личность (Наполеона), который, сидя верхом, здесь из одной точки охватывает мир и им повелевает. Конечно, пруссакам нельзя было предсказать ничего лучшего, но с четверга по понедельник подобные успехи возможны только для этого необыкновенного человека, которому нельзя не удивляться… Как я заранее желал успеха французской армии, так все желают теперь его ей, и успех неизбежен при чудовищном превосходстве ее предводителей и солдат над противниками». Предсказания Гегеля исполнились. Пруссаки побеждены. Германия у ног повелителя. Фихте бросил кафедру в Эрлангене и бежал в Кенигсберг, чтобы разделить участь побежденного отечества. Но Гегель через несколько месяцев еще пишет, что в истории этого дня он видел «неотразимое доказательство победы образованности над грубостью и духа над бездушным рассудком и умничаньем».

Можно, конечно, оправдывать Гегеля хотя бы потому, что не один он так делал и что нельзя всем и каждому быть похожим на Фихте; но в сущности, что это за оправдание?.. Во всей этой йенской истории Гегелю, по-видимому, не понравился только один эпизод, когда «грубые французские солдаты» ворвались в его квартиру и производили в ней всяческие безобразия, рвали бумаги, обливали чернилами стены, плевали, куда приходилось, и не оставляли в покое даже самого хозяина, подшучивая над его длинным носом и другими «eigenheiten», то есть особенностями. Гегель, очень обиженный, обратился тогда к одному из сержантов с орденом Почетного легиона в петличке и заявил ему, что «ожидает помощи от его почтенной особы» и полагает, «что нет никакого разумного основания обижать мирного немецкого философа». Но увы! – «орден Почетного легиона» только покрутил свой ус и, не без презрения взглянув на этот тщедушный экземпляр человеческой породы, именовавший себя «мирным немецким философом», даже не вступился за него. Безобразия продолжались, гардероб Гегеля и его табакерка подверглись самому варварскому нападению, чернильницы летели в стену, черновые листки «Феноменологии духа» пошли на цигарки; сам Гегель и его eigenheiten подверглись всяческому оскорблению, и он должен был бежать, оставив все на произвол судьбы.

Материальные затруднения между тем продолжались, французское нашествие только увеличивало проклятую нищету. Правда, «Феноменология духа» уже появилась в печати, но нужны были просто нечеловеческие усилия, чтобы получать крейцеры и пфенниги от «издательской акулы» – какого-то Herr'а Гебхарда. Гегелю ничего более не оставалось, как уехать из Иены. Все его друзья – Нитгаммер, Шеллинг и другие – удалились еще ранее в Баварию. «Там умеют уважать и ценить заслуги», там было «нечто вроде Эльдорадо для науки». «Страна монастырей (Бавария) обратилась в попечительный приют для гуманистов и философов». Гегель стремился туда душой, тем более что «каждый пфенниг гонорара за изданное сочинение стоил ужасных мучений во время сделки с хитрым книгопродавцем». «Я часто желал, – пишет к нему Шеллинг от 11 января 1907 года, – извлечь тебя из пустынного севера, который, как кажется, неспособен даже служить сосудом для восприятия того, что есть наилучшего (т. е. философии)»… и вслед за этим Шеллинг давал своему другу советы, как он должен отрекомендовать себя баварским высшим властям, и обещал ему личное ходатайство «при удобном случае».

Прошло полтора года «прежней» голодовки. В марте 1807 года Гегель является перед нами редактором «Бамбергской газеты». Это место доставил ему Нитгаммер, чтобы избавить от вопиющей «нужды». Гегель с радостью занял его, и в то время, когда, по его мнению, одна наука, то есть самая что ни на есть отвлеченная наука, могла успокоить дух униженной Германии, он оставляет науку для политики, и притом для какой политики? Под управлением образцового вассала Франции Максимилиана Иосифа и его визиря Монжела Бавария была сконцентрирована и вышколена, как Франция под деспотической рукой Наполеона. Разнообразие старинных правил, привилегий и узаконений исчезло под нивелирующим уровнем новых узаконений; но не благо народа имели своей целью законодатели. Баварию угнетали роскошь и огромное войско, поглощавшее все средства страны; ее грабил министр, прибывший нищим в страну и скоро составивший себе огромное состояние; вместе с придворным банкиром он разорял Баварию финансовою игрою. Страну объедала целая армия чиновников-плутов, которым слабое правительство дало полную свободу. Грубость и неспособность этих служителей администрации производили каждые два года то здесь, то там банкротства в делах, за которыми следовала так называемая «новая организация», то есть замена одного неспособного и соединенного узами дружбы и родства круга чиновников другим. Вследствие этого способа управления, несмотря на секуляризацию духовных имений, с неслыханным вандализмом были растрачены огромные суммы, движимость и недвижимость. Ценность государственных бумаг и имений пала, а страна и отдельные личности сильно обеднели от тяжести налогов, французского военного постоя, военных издержек и поглощения рабочих сил военной службой.

В этой-то стране Гегель сделался редактором политической газеты. Ни о какой самостоятельности нечего, конечно, было и думать. Чего должен был ожидать тот, кто позволял себе какие-нибудь нескромные речи, Гегель мог видеть в самом начале принятой им редакционной работы, из примера одного своего знакомого, Штуцмана. Тот, будучи в Эрлангене, издавал свою газету; как редактор он был в начале марта отвезен вместе со своим наборщиком в Байрет под предлогом распространения ложных политических известий, и только через месяц его газета была вновь разрешена под названием: «Эрлангенская *беспристрастная* газета». Французы не стеснялись, перед ними приходилось холопствовать. «Только при одном условии, – говорит Гайм, – можно было заняться изданием газет: если бы целью этого было пробуждение национального сознания и желание раздуть пламя революции против чуждой тирании. Но Гегель удалился в свою редакционную комнату для целей совсем противоположных». Его газета не была органом, передававшим мнение, как оно выражалось в обществе; она сообщала отчеты, но не хотела и не обязывалась присоединять к этому своего мнения. Руководящие статьи в ней совершенно отсутствовали, и даже

в чисто фактической форме она являлась служительницей того интереса, защита которого не должна была найти ни одного голоса в Германии. Только один раз Гегель в полемической статье отстаивал свой политический взгляд: и это было сделано с целью осмеять «северогерманский патриотизм», впоследствии спасший отечество от французского владычества. «Бамбергская газета» была газетой наполеоновской. В ней французские интересы стояли на первом плане, баварские – на втором, а общегерманские совершенно отсутствовали. Разглагольствования «Moniteur'a», императорская фразеология официальных и подслуживавшихся газет находили себе место на полосах гегелевской газеты, издававшейся «строго фактически», на самой скверной бумаге. На всякой странице этой *заказной* прессы беспрестанно встречаются прославления великого императора, его венчанных и не венчанных креатур и орудий его воли. В зиму 1807/1808 года Гегель еще продолжал издавать свою газету, когда в Берлине, почти под штыками французов, Фихте читал немецкой молодежи свои знаменитые «Речи германскому народу», проникнутые благородным патриотизмом, одушевленные энергией благородной личности.

В 1808 году благодаря стараниям Нитгаммера Гегелю удалось получить место ректора Нюрнбергской гимназии. Прекрасное место для всякого, но только не для нашего философа, которого тянет к профессорской кафедре, который успел уже привыкнуть к ней и считает ее, совершенно притом основательно, единственно подходящей ареной для своей деятельности. Гегель не совсем доволен, но «исполняет обязанности», не ощущая при этом, как и вообще при исполнении обязанностей, ни душевной свободы, ни полного довольства бытием. Ему постоянно приходится иметь дело с детьми, входить в разнообразные интересы их маленькой жизни, и легко догадаться, чего недоставало ему при этом: дети, все равно какие – французские, немецкие или папуасские, – требуют прежде всего любви, ласки, непосредственности, а великий мыслитель предлагал им вместо этого непонятные лекции по философской пропедевтике, идею строгого порядка и сухость малодоступного для детских интересов сердца. Но, чтобы не умереть с голоду, надо было исполнять обязанности, и Гегель, как видно из его писем, «делал все возможное» с чисто чиновничьей аккуратностью и чисто чиновничьим педантизмом. В своей богатой, спокойной и удивительно здоровой натуре он всегда находил нужные силы, чтобы мириться с действительностью, какой бы она ни была, и вы напрасно даже в наиболее тяжелые периоды его жизни будете искать в самых искренних его признаниях какого-нибудь резко выраженного недовольства или проклятия… Проклятая жизнь! – этого вы от Гегеля не услышите, хотя бы со стороны было известно, что в продолжение целых месяцев он терпит постоянные неудачи, занимается совершенно неподходящим ему делом, питается Бог знает чем!.. Удивительный запас терпения преодолевает все; ни на минуту не прерывающаяся работа гениальной мысли, стремящейся к постижению всего сущего, красит самую непривлекательную обстановку и дает такие наслаждения, которые даже не мерещились обыкновенному смертному. И работа Гегеля – не порывистая работа таланта или горячей впечатлительной натуры, постоянно ловящей призрак совершенства, быстро переходящей от восторгов к отчаянию; перед нами работа уверенного в себе и терпеливого гения, величаво, спокойно идущего к однажды намеченной цели.

В 1811 году Гегель женился, в 1816 издал главное свое сочинение – «Логику» («Die Logik»). Об этих двух фактах, относящихся к нюрнбергскому периоду, нам надо сказать по нескольку слов.

Гегель женился, и это единственное увлечение, которое он позволил себе в жизни, было, к счастью, совершенно удачным. «Его жена была лучшая из женщин», – говорит Гайм, Розенкранц утверждает то же самое, и хотя я не знаю, чем она так понравилась господам биографам, но охотно верю им: Гегель горячо любил ее. «У кого есть цель в жизни и хорошая жена – у того есть все», – говорит он сам, формулируя в этих словах то блаженное настроение, которое овладело им после свадьбы. По-видимому, будучи женихом,

Гегель сильно увлекался своей невестой, и мы не без удивления видим, что в строгом философе вдруг пробудился сентиментально настроенный немец, который пишет длиннейшие стихи по адресу своей Марии, чуть не ежедневно сочиняет для нее письма, переполненные рецептами о супружеской добродетели и супружеском счастье и самыми страстными излияниями чувства. Читатель не может не улыбнуться, постоянно встречая в этих письмах отрывочные фразы, многоточия, восклицательные знаки, нежнейшие эпитеты и припоминая при этом, что все это принадлежит автору «Феноменологии духа», работающему над сочинением «Логики» – самой строгой, спокойной и абстрактной книги, вышедшей когда-нибудь из-под пера мыслителя. Но рядом с восторгом и овладевшей Гегелем страстью мы видим обстоятельное изложение того скромного и благоразумного идеала супружеской жизни, который, вероятно, был выработан нашим философом еще в молодые годы. Ведь мы уже знаем, что он, будучи мальчиком и юношей, увлекался не Вертером Гете, не «Разбойниками» Шиллера, а «картофельно-селедочными» произведениями, в которых превозносилась супружеская верность, благоразумная любовь, здоровый аппетит и умеренность в наслаждениях. В доме своего отца Гегель также видел пример спокойной домашней жизни, в которой муж исполняет обязанности, а жена занимается хозяйством. Эта-то тихая пристань и привлекала к себе воображение нашего философа, и своей будущей жене он старался внушить к ней ту же привязанность, какую чувствовал сам. Поэтому рядом с нежными изъяснениями чувства мы видим обстоятельные и не очень уж интересные нотации. «Не особенно поэтично!» – скажет читатель. Не особенно поэтичной, но спокойной и счастливой вышла и семейная жизнь Гегеля.

Муж и жена занимали небольшую, но чистую и приличную квартиру. Прямо против выхода находилась гостиная, направо – кабинет Гегеля, потом спальня, детская. Во всем были видны порядок и аккуратность. Прислугу обыкновенно не держали, разве в случае каких-нибудь экстренных обстоятельств вроде болезни, беременности самой Marie von Hegel и тому подобных. Жизнь вообще велась тихая, скромная, супруги разрешали себе небольшие поездки по Германии. Жена занималась исключительно хозяйством, но любопытно, что и сам Гегель находил время вмешиваться в него. Он был «главой и хозяином» дома в полном смысле слова. Сохранились толстые, тщательно переплетенные тетради, в которых великий философ вел аккуратную запись всех расходов по дому, не пренебрегая ни единым крейцером или пфеннигом. Он любил говорить, что жизнь выше средств (все равно каких – материальных или духовных) есть первый источник безнравственности и несчастья, и с обычным для него педантизмом проводил этот принцип в личной своей обстановке. Это – принцип полного, если угодно, философского благоразумия, и, чтобы следовать ему, нужна большая ясность ума, мало увлекающаяся, мало впечатлительная натура вообще. Гегель обладал таковой и был счастлив. Как мало нужно усилий воображения, чтобы восстановить перед собой скромную обстановку его жизни, проследить его времяпрепровождение за целый день, за целые годы! Мы легко представляем его работающим в кабинете, окруженного грудой книг и мелко исписанных тетрадей; в столовой, нахваливающего свою супругу за хорошо приготовленный суп или прекрасно препарированный форшмак; в детской, ласкающего маленького Гегеля с такими же серыми глазами, как у Гегеля большого; опять в кабинете, спокойного, сосредоточенного, занятого детальной разработкой своей великой системы или неумолимой критикой легкомысленно философских произведений. Ни скуки, ни порывов. Гениальная, охватывающая все явления жизни мысль работает без устали, создавая цепь силлогизмов и диалектических моментов, долженствующую представить жизнь вселенной, – благоразумный характер не знает ни кризисов, ни треволнений, не переходит от необузданных восторгов к малодушному унынию и, вполне, слишком даже, уверенный в себе, не бросает инквизиторских, полных мучительного недоумения и сомнения взглядов на свое внутреннее «я». Тут же бок о бок красивая, молодая, добродуш-

ная супруга, с хорошей улыбкой, с ласковым светом голубых глаз, с хлопотливыми заботами о хозяйстве в своем маленьком сердце… Для вечернего развлечения – карты… Вообще же тишь и гладь, и как бы можно было завидовать этим тиши и глади, не будь они куплены слишком дорогой ценой – полным презрением к общественной жизни.

Ведь эпоха, о которой мы говорим (1808–1816), была одной из самых бурных и великих в жизни Германии. Целые годы велась упорная, полная благородного и патриотического одушевления, борьба с Наполеоном. Вместо чиновников, администраторов, генералов стратегических и тактических на сцене действовал народ, и не как призрак («в интересах народа!»), не как понятие, а как нечто реально существующее. Под влиянием общего возбуждения были проведены в жизнь величайшие реформы – уничтожено крепостное состояние, введена всеобщая воинская повинность, ослаб даже гнет чиновнического механизма, педантизма и прочего. А главное – исчезло то губительное самодовольство, которое овладело прусской правительственной жизнью после царствования Фридриха II Великого. Неудачная борьба правительства с Наполеоном воочию доказала, как гнил и, в сущности, бессилен механизм прусской государственной жизни, считавшийся всесовершенным. Для спасения себя, поддержания своей чести, для победы над гордым завоевателем пришлось обратиться к народу, и этот униженный, закабаленный народ, не видевший до той поры ни тени справедливости, не жалея себя, совершил высокий героический подвиг освобождения родины, обретя героизм в глубинах своего великого, хотя и дремлющего духа. Элементарная справедливость, не говоря уже о благодарности, требовала признать народ за активную часть государственного механизма, и сообразно с этим… сочинялись всяческие конституционные проекты.

Гегель оставался равнодушен ко всему этому, даже больше: он посмеивался над патриотическим подвигом своей родины, над народом, защищавшим свою честь, над молодыми (и не только по возрасту) умами, которые хотели воспользоваться этим моментом, чтобы осуществить на земле идеал человеческого счастья. Все это казалось ему странным и глупым. Он до конца не верил, что можно победить Наполеона, этого всемирного духа, при помощи мужиков и разгорячившихся студентов. Спокойно сидел он в Нюрнберге, читая философскую пропедевтику, очень довольный собой, супругой, обедом и своей «Логикой», которая подходила к благополучному окончанию. Прав, или по крайней мере в этом случае был прав Штейн, заявив, что метафизика вредна для Германии, что авторы метафизических систем – или индифферентны, или реакционеры. Прежде чем сделаться последним, Гегель был первым.

Но нам надо сказать несколько слов о его «Логике», законченной в 1811 году. Постараемся выяснить если не

Мы уже видели, что Гегель смотрел на мир Божий глазами философа-эстета, если угодно, философа-оптимиста. Вселенная – это гармонически прекрасное целое, дивная картина, воплотившая в себе художественно-цельную идею. Эта идея находится в процессе бесконечного развития. Идея развивается, не останавливаясь ни на минуту в своем торжественном марше, у нее нет другой цели, кроме самопознания и самоопределения, но эта цель не достижима ни в один определенный момент времени. Идея стремится выразить, *«определить»* самое себя, ибо *полнота самопознания есть всесовершенство, полнота наслаждения.* Идея – это мир. Каким же законам подчиняется она в своем развитии? «Феноменология духа» – первое сочинение Гегеля – дает нам картину *моментов,* через которые проходит идея на пути самопознания. Мы следим там за ее развитием, но законов этого развития мы не знаем. Эти законы – законы *логики.* Абсолютное, говорит Гегель, есть *дух, разум;* все существует лишь потому, что существует абсолютный, стремящийся к самопознанию разумный дух. Итак – *мир есть разум.* Уже из этого понятно великое значение и место «Логики» в системе. Это-то сочинение говорит нам о законах развития и дает всей философии Гегеля невероятно прочный фундамент. Это уже не умствование Шеллинга, это – стройная идеа-

листическая система, опирающаяся на гранитное основание неопровержимых логических законов. Мы можем отрицать положения Гегеля, можем не соглашаться с ним, когда он говорит, что абсолютное есть дух, что абсолютное есть бесконечно диалектическое, то есть признающее *только* логические законы; но если мы примем обе эти формулы, нам остается одно: штудировать Гегеля, проникаться его взглядами и воскликнуть: «Все действительное разумно!», ибо кроме разума нет ничего. Уступите Гегелю в его аксиомах (их он не доказывает, это аксиомы идеализма) – и вы можете смело, без всякой боязни идти за ним и с чувством восторга, с чувством удивления перед невероятной логической силой нашего философа, познавшего *все,* следить за развитием духа, от стадии полной бессознательности и Ничто (Nichts), до того состояния самопознания, которого Дух достигает в человечестве, вернее в философии самого Георга Фридриха Вильгельма Гегеля.

Мир есть понятие. Пусть читатель на минуту отбросит свои обычные представления о вселенной и проникнется точкой зрения Гегеля; тогда ему будет понятно как временное всемогущество системы берлинского мудреца, так и значение в ней «Логики». Все явления жизни природы и жизни человечества – это *рассуждение* Всемирного Духа, моменты его *логического* (диалектического) развития. Море, каменные скалы, человечество в различные периоды его бытия не суть вещи материальные, не «объект» в общепринятом смысле этого слова, а *Всемирный Дух,* выражающий себя в той или иной форме ради самоопределения и самопознания. Все это чисто логические моменты, необходимые для осуществления чисто логической задачи – самопознания, к которой присоединяется задача эстетическая – самосозерцание себя как сознающего духа. Всемирному Духу – а этот дух есть *все* – надо было решить проблему, то есть познать самого себя. Гегелю предстояло решить другую проблему – постигнуть законы этого познавания, и в своей «Логике» он действительно постиг их. Его Всемирный Дух – это Бог, его «Феноменология духа» – история Бога, его «Логика» – свод законов, которым подчиняется Божество на пути логического развития, его философия, история – история человечества как воплощенного Божества. Нет ничего, кроме Бога, все сущее – Его проявление или, по Гегелю, определение.

Перед нами благодаря «Логике» система чисто фаталистическая. Всемирный разум может развиваться только по законам логики; логика едина, ее законы – необходимы. Следовательно: «существует только то, что должно быть». Вся жизнь – проявление Разумного Духа, его диалектические моменты. Итак, все действительное разумно. Мало того – оно прекрасно, так как красота есть самосозерцание самопознающего духа. Вы хотите быть счастливым? Вступите в мировой процесс, но вступите в него *сознательно,* через изучение философии Гегеля, и созерцайте жизнь Всемирного Духа, который отражается и в вас. Пусть мысль, что вы частица бытия, воплощение единой, вечной, разумной идеи, наполняет ваше сердце *гордостью,* пусть стройная картина, открывающаяся перед вами в «Феноменологии духа», вся состоящая из тончайших логических штрихов, укажет вам связь вашего личного крохотного бытия с бытием вселенной; пусть, постигнув Логику, вы поймете, что все существует лишь потому, что оно *необходимо,* что ничего другого и быть не может на его месте, – и тогда вы сделаетесь счастливым, если можете.

Еще раз: философская система Гегеля грандиозна: она охватывает *все.* Она способна подчинить себе даже сильный разум, потому что основана на строгой логике. Она действует успокоительно на нервы, так как проповедует в лучших своих частях *эстетический фатализм,* в худших – *покорность.* Она наполняет человека *гордостью,* говоря ему, что он – лучшее, то есть наиболее сознательное *воплощение* Всемирного Духа, Вечной, Единосущей Идеи, и вместе с тем *смирением,* так как что же такое мое личное «я», мои желания, прихоти, капризы, даже страдания перед жизнью, перед необходимостью «диалектических моментов»? Даже «сказать стыдно»… Эта философия не воодушевит вас на борьбу, она не пропитает вас идеалом общественного счастья, не заставит напрягать ваши нервы и мускулы при

виде несправедливости, гадости, глупости, подлости; но дает вам бесконечный источник созерцательного наслаждения. Будь жизнь решением математических, логических и иных тому подобных проблем, можно было бы вместе с гегельянцами сказать: «Все вопросы окончены – остается один: *что же будет делать дальше Всемирный Дух, раз он познал себя в философии Гегеля?»* Но жизнь, по-видимому, мало интересуется диалектическими моментами, и на формулу Гегеля: «Все действительное разумно, необходимо, прекрасно», – ответила Июльской революцией 1831 года, февральскими днями 1848 года и так далее, и так далее.

Глава VII

Берлин

В 1816 году Гегелю наконец удалось получить профессорскую кафедру в Гейдельберге. Но мы пропустим этот гейдельбергский период, так как для характеристики нашего мудреца он не дает ничего, а о любопытном эпизоде его столкновения с вюртембергскими чинами мы скажем несколько слов ниже. Переходим поэтому прямо к эпохе высшей славы и общественной деятельности Гегеля, когда он является перед нами если и не вершителем судеб своей родины, то, по крайней мере, одной из самых крупных и заметных величин в деле «вершения».

Это – эпоха реакции, реакции самой бесцеремонной и грубой. Либеральные начинания, вызванные патриотической борьбой с Наполеоном, реформами Штейна и прочим, хотя и продолжали бродить в обществе, особенно среди молодежи, но стали уже вызывать самый сердитый отпор со стороны германских правительств вообще и прусского правительства в частности. Далеко не все государи оказались такими рыцарями своего слова, как наш Александр Благословенный; большинство повернуло вспять при первой возможности и устремило свои помыслы на реставрацию, реставрацию всего, что было до Наполеона и произведенной им сумятицы. Ввиду данных заранее либеральных, конституционных и прочих обещаний это было не совсем «удобно», но в оправдание германским государям можно привести то обстоятельство, что и само общество не особенно настаивало на либерализме, а предпочитало спокойствие духа и мирное благоденствие. Молодежь, правда, бродила; идея единой Германии, сочетавшись с другими, даже несколько мистическими идеями, – восстановления времен Арминия – созревала в ее среде, но благоразумные люди стремились к отдыху после перенесенных передряг. «Забыться и заснуть», – скорее к этому, чем к другой какой формуле, склонялось активное и влиятельное большинство общества. «Довольно жертв, понесенных в борьбе с Наполеоном, довольно приобретений, сделанных в министерство Штейна! Да и не слишком ли далеко зашли мы с освобождением крестьян, всеобщей повинностью, конституционными обещаниями и мечтаниями? Торопиться, право, некуда: земля, слава Богу, из-под ног не бежит!..» Так говорили многие и были правы, в том, по крайней мере, что земля из-под ног действительно не бежала.

«Зоркий взгляд Альтенштейна (прусского министра внутренних и полицейских дел) увидел Гегеля на Гейдельбергской кафедре». Так картинно говорит Гайм.

Проще: herr'у Альтенштейну очень понравилась философия Гегеля, опиравшаяся на формулу: «Все действительное разумно». А как там ни мудрствуй лукаво, прусское государственное устройство было все же действительностью, не меньшею действительностью было и желание успокоить умы. В лестных, заискивающих даже выражениях была предложена Гегелю знаменитейшая в Германии берлинская философская кафедра. Он был приглашен со специальной целью оправдать настоящее, доказать его разумность, его необходимость в общем ходе мироздания и – что странно – он принял предложение, хотя ничто не принуждало его к этому: в Гейдельберге он занимал вполне независимое положение, его слава была вне всяких сомнений, материальные условия жизни были недурны, а Пруссию он не любил никогда и даже смотрел на нее с величайшим презрением. Но он согласился. Философия с высоты Чистого Разума опустилась на землю и, увы, запачкалась в ее грязи.

Вполне достаточно насмотрелись мы на Гегеля как на индифферентиста, теперь перед нами – Гегель-реакционер. Нельзя сказать, что это совершенно неожиданный переход, и все

же лучше бы его не было. Где же реакционные элементы абсолютного гегелевского идеализма, которые вошли как краеугольный камень в практическую философию – «Философию права» и «Философию религии»? Но сначала факты.

В 1817 году по поводу трехсотлетнего юбилея реформации[8] студенты всех германских университетов устроили торжество. Произносились горячие речи, был задуман общегерманский буршеншафт. Профессора сначала присутствовали, потом разошлись, последним ушел Фриз. Молодежь, между тем, воодушевилась, и шутки ради было устроено маленькое «аутодафе», на котором сожгли реакционные сочинения Коцебу, сотни других реакционных сочинений, прусскую военную косичку, каску и еще что-то. Все это сопровождалось хохотом, насмешками, малосдержанными шутками. В конце концов молодежь мирно разошлась. Но так открыто заявленные либеральные симпатии, такая смелая насмешка над реакцией и не менее смелые мечты об общегерманском буршеншафте пришлись «не по характеру» министрам вообще и прусским министрам в частности. Заговорили о революции… Гегелю пришлось высказаться. Прежде всего он энергично напал на Фриза, который и так уже находился под уголовным следствием, и обвинил его в подстрекательстве. Заметим при этом, что и раньше между Гегелем и Фризом были счеты: уже в Йене Фриз пользовался большею популярностью, чем наш философ; издав свою «Логику», Гегель в одном из примечаний так резко и энергично разнес логику Фриза, что они стали почти врагами; в Гейдельберге Гегель не получал долго кафедры, потому что там был Фриз. Следовательно, приличие требовало молчать, но Гегель заговорил и притом с таким раздражением, что даже находившаяся на содержании у правительства газета упрекнула его. Гегель отвечал, что он как прусский чиновник выше всяких подозрений. Эпизод становился просто неприличным.

В 1820 году последовало убийство Коцебу. Оно имело политическую подоплеку, в нем не были замешаны ни партия, ни революция, а действовал один ненормальный юноша Занд. Но за этот факт ухватились как за несомненное свидетельство революционных планов, и борьбой с ними определилась дальнейшая политика Пруссии. Довольно либеральничать!.. Реакция вошла в силу, и Гегель сыграл в ней первую роль, хотя в Гейдельберге, накануне своего переезда в Берлин, он либеральничал как нельзя лучше и доказывал тупость вюртембергских чинов, противившихся либеральным начинаниям герцога… Но посмотрим на его профессорскую деятельность. «Он сидит на кафедре, окруженный мелко исписанными тетрадями. Он угрюм и как будто чем-то недоволен; первые слова лекции философ произносит с явным неудовольствием, без церемонии останавливается среди фразы, постоянно кашляет. Но он достиг уже всемирной славы, толпа преданных учеников теснится возле его кафедры, боясь проронить хоть единое слово. Понемногу Гегель воодушевляется, тонкая сплетенная как бы из паутины диалектика увлекает его самого. Без всякого колебания забирается он в ее дебри, свободно вращается в сфере самых отвлеченных представлений, с утомительной подробностью останавливается на каждой частности, но в конце концов благодаря своему гению он дает слушателю настоящую художественную картину, стройную и изящную, как доказательство великого математика. В аудитории он – царь, который может делать со своими слушателями что ему угодно. От богато убранного стола его философии питаются все науки, питается сама жизнь. Он удовлетворил министерство, и оно осыпает его почестями и наградами, он увлек молодежь всепобеждающей силой своего искусства, грандиозной задачей – объять все; он, наконец, успокоил малодушное большинство, примиряя идеал и действительность. Действительность разумна и необходима. Перед нами не разрозненные явления природы, а строго логическое развитие Всемирного Духа. Смотри, радуйся и будь счастлив. Если философия Гегеля давала уму ответ на все вопросы, то его излюбленная точка зрения на мир как на единое прекрасное целое успокаивала все мало-

[8] Как известно, в 1517 году Лютер прибил к дверям храма свои знаменитые тезисы

душные сердца, давала им возможность примириться с жизнью. А этого примирения искали все: Гельдерлин, Шеллинг, романтики, реакционеры, искали то со страстной потребностью забыться, то с невольным стремлением к полному квиетизму. Наконец разгадка была найдена. Гегель отбросил в сторону малодушные жалобы Гельдерлина, парадоксы Шеллинга, мистику романтизма – он дал систему наукообразную, подкопаться под которую нелегко, достаточно убедительную, чтобы приковать к себе внимание целого поколения Европы. Он успокоил умы и сердца, но не отречением от действительности, а напротив, сблизив человека с нею и показав, что она *прекрасна, разумна, необходима.* «Философия должна постигнуть действительность» – но не с точки зрения нашего чувства, наших идеалов и желаний, а с точки зрения разума, который должен доказать ее необходимую связь с прошлым и будущим».

Что же делать человеку? Гегель требовал полной покорности, и эта покорность являлась разумной и необходимой. Для избранного же меньшинства он оставлял еще наслаждение созерцать вселенную как прекрасное целое. Очевидно, министерство могло быть довольно такой философией. Но, полюбопытствует читатель, каким образом Пруссия превратилась вместе со своим государственным устройством в нечто абсолютно совершенное? К сожалению, это не более чем компромисс.

И этот компромисс станет для нас очевиден, если мы остановимся на минуту на «Философии религии» и «Философии права» и посмотрим, как постепенно изменялись взгляды нашего философа, пока не пришли к формуле: «Пруссия и лютеранство суть вещи всесовершенные, и я, Гегель, горжусь тем, что рожден лютеранином и состою прусским чиновником».

Начнем с религии. В юные годы в отношении к ней господствует точка зрения критически настроенного свободолюбивого разума; в юные годы – увлечение Кантом, борьба с протестантским катехизисом, полное сочувствие Шеллингу, не терпевшему в то время схоластиков-богословов. Но критика быстро отступает на задний план, уводя с собою насмешки. Стремящийся к ее постижению гений Гегеля выступает на сцену. Критическое отношение заменяется отношением спокойно наблюдающего историка. Религия – факт прежде всего исторический. Как выработался он, какие условия воспитали то и другое религиозное мировоззрение? Как появилось христианство, как сменило оно классическую веру? Гегель перестает судить, он *объясняет.* В «Жизни Христа» (1795 г.) есть замечательные глубокие страницы, достаточно выясняющие точку зрения нашего мыслителя. Вот например, что он говорит: «В древности господствовала государственная идея. Смерть не страшила человека, так как его земной бог – государство – было вечно, по крайней мере в его представлении. Но когда Рим поглотил и разрушил все отдельные республики, когда его самолюбивая, эгоистичная политика унизила человека, отняла у него величайшую цель прежней жизни – служение государству, – обратив его в раба, страх перед смертью стал преследовать его. Рим был слишком велик, слишком горд, чтобы каждый из его бесчисленных граждан мог смотреть на его жизнь, на его интересы как на свои собственные: древнее маленькое государство, *доступное* и *понятное* каждому, исчезло и оставило пустое, ничем не замененное место. В ужасе перед могилой, где теперь действительно уже кончалось все, человек обратил свои глаза к небу и вместо исчезнувшего земного бога-государства стал искать Бога небесного. И ему, пережившему ужас римского владычества, могла представиться истинной только та религия, которая клеймила господствующий дух времени, которая бесчестье от попирания ногами самодовольной кучки оптиматов называла честью, а страждущее послушание – высшей добродетелью». Это уже не рационализм юношеских лет; это голос спокойного историка. Чем дальше, тем консервативнее становятся взгляды Гегеля. По-видимому, одна идея, что «человек есть член государства, которое есть начало *«высшее* сравнительно *с личной жизнью»,* определяет дальнейшие взгляды Гегеля. Хотя он и не оставляет совершенно сво-

его юношеского радикализма в вопросах догматики, но по свойственной ему особенности запрятывает этот радикализм за густой ряд неудобоваримейших терминов. Все более проникается он уважением к народной религии, считая ее необходимой принадлежностью благоустроенного государства. Дело в том, что «научное знание *истины* доступно лишь немногим избранным. Религия дает человеку ту же *истину,* но языком чувства, конкретного образа». Она преимущественно для темной массы, для толпы… Это до Пруссии. В Пруссии Гегель провозглашает лютеранство всесовершенным и гордится, что воспитан в догме меланхтоновского катехизиса.

Любопытны взгляды Гегеля на отношения государства к церкви. Здесь идея государственного всемогущества выступает на первый план. Государство, говорит он, не должно опираться на религию; спорить против его начал во имя религиозных воззрений нельзя. Государство обязано защищать религиозную общину, помогать ей и *требовать* от каждого гражданина принадлежности к какой-нибудь религиозной общине. Конечно, религия – дело личное, и чье бы то ни было вмешательство в него неуместно; но, так как *она приводит к известным правилам, то… вмешательство не только уместно,* но и *необходимо.* Государству принадлежит верховный контроль…

Итак, оно, государство, всемогуще. «Оно – земной бог». В нем личность находит высшее свое определение. Оно должно направлять деятельность гражданина. Эллинский идеал Гегеля, его презрение к личной жизни нашли свое выражение в обоготворении государства. Но причем тут Пруссия? Почему *прусское* устройство и лютеранство всесовершенны? Почему государственное начало может воплощаться только в полицейско-чиновничьей форме? Политический идеал Гегеля – прусское status quo 1820–1830 годов. Тут – чиновники и полиция, полиция и чиновники. Очевидно: философия сошла на землю.

Но это успокаивало умы. Министерство было в восторге и радовалось, так как Гегель «построил» прусское государство на началах разумности и необходимости. Громадное влияние гегелевой философии обеспечивало ему спокойную будущность: опираясь на нее, можно было идти по намеченному пути, не смущая себя никакими призраками. Сам Гегель продолжал работать в том же направлении… С могучей и злой диалектикой нападал он на своих противников, без устали развенчивал «героев чувств», философов веры и всех этих горячих «мальчишек», желающих перестроить разумную и необходимую жизнь по своему образцу. Он умер в 1831 году от холеры; последняя неоконченная его статья заключала в себе злую критику английского билля о реформе за его скромные, но все же демократические тенденции…

Глава VIII

Значение личности Гегеля

Подведем итоги.

Я полагаю, что читателю будет любопытно объяснить этот переход Гегеля на сторону прусского министерства. Великий человек, так долго служивший одной истине, так глубоко убежденный в достоинстве мысли, идет на компромиссы. Почему? Не будем торопиться, а составим прежде всего краткий обвинительный акт. Мы видели очень грустные факты, мы видели, что Гегель как редактор баварской газеты оправдывает французское владычество в Баварии, выказывает полный, насмешливый даже индифферентизм к судьбам своей родины, называет Наполеона «душою мира», спокойно живет в Нюрнберге, когда его товарищи-профессора становятся под знамя, смеется над патриотическим подвигом своего народа; затем как вюртембергский профессор превозносит вюртембергского герцога и либеральничает и, наконец, как прусский чиновник возводит прусское status quo в идеал и является строжайшим консерватором. Мало того, в своих лекциях, обращенных к толпе боготворившей его молодежи, он часто позволяет себе двусмысленности и противоречия, слишком грубые, чтобы объяснять их как «lapsus linguae». Это уже «lapsus virtutis». В чем же дело? Перед нами, как угодно, в высшей степени любопытный психологический феномен, которого *оправдать* нельзя, но можно *объяснить*. Ничтожеством в обычном смысле слова великие люди не страдают, и потому не будем приписывать Гегелю каких бы то ни было низких побуждений вроде желания прислужиться и прочего. Но что у великих мыслителей зачастую не хватает нравственного мужества, чтобы высказывать ясно понимаемую ими правду, слишком близко касающуюся действительности, – это, я думаю, ни для кого не новость. Надо же было Декарту посвящать свою «Discours» Сорбонне; Эразму отрекаться от реформации и писать доносы на Гуттена; Платону навещать Сицилию; Бэкону брать взятки. Такие строгие нравственные личности, как Сократ, Бруно, Галилей, Спиноза, более редки, чем великие мыслители. Обидим ли мы поэтому тень Гегеля, приравняв его к Декарту или Эразму? Я думаю, что никто, называя его героем мысли, не станет называть его героем без эпитета… Это – во-первых. Во-вторых: философия Гегеля проникнута индифферентизмом в нравственном отношении. Ее цель – познание, ее бог – разум. «Без самосознания, – говорит один из остроумнейших русских писателей, – нет деятельности; но работа самосознания не может быть содержанием деятельности. Самосознание есть только необходимое *условие,* а не сущность деятельности, предмет которой должен лежать вне личности. Если осознавший себя человек употребит свои силы исключительно на дальнейшее расширение и укрепление своего самосознания и самопознания, он сыграет в нравственном мире роль бесплодной смоковницы, заслуживающей проклятия как возмездия; он явит собой образец чистейшего эгоиста, который интересуется только собой, заботится только о себе». Это прекрасная характеристика Гегеля. Чего хотел он? Понять мироздание, разработать окружающее до степени идеи. Его ум был *так устроен* (я настаиваю на том, что устройство ума не всегда разложимый фактор), что он считал дело поконченным – раз ему удавалось *понять* его. Его идеи не требовали выхода в действительность: Гегель удовлетворялся *процессом* понимания, и это обстоятельство опять говорит нам о слабости его нравственного чувства. Как поэт облегчает свою душу, воплотив свои муки в образ, так Гегель успокаивался, объяснив данное явление, как бы скверно оно ни было. Все его усилия сосредоточивались на диалектике;

но диалектика даже великого ума, не оплодотворенного нравственной идеей и стремлением к идеалу справедливости, не может обойтись без примеси софистики.

Но сделаем и еще одно соображение; обратимся к личности Гегеля как человека и, быть может, здесь мы найдем небесполезные указания. Преклонение перед фактом, стремление примирить идеал и действительность, уничтожив первый как проявление нравственного «я» человека и возведя вторую на его место – таков общий смысл философии Гегеля. Его личный характер, слишком рассудочный и вообще не склонный ни к деятельности, ни к протесту; его душевный мир – трезвый и мало увлекающийся, далекий от энергичной любви к ближнему; его гениально пытливый ум, не оплодотворяемый нравственными стремлениями, – все это вело Гегеля сначала к созданию философии, холодной как лед, не отводящей места человеку как нравственному существу, а потом – к преклонению перед действительностью, к борьбе с проявлениями личного, верующего, нравственного чувства. Не о том, чтобы изменить *факт* жизни в пользу человеческих желаний, а чтобы доказать силу, величие, необходимость этого факта – к этому сводились все усилия гегелевской диалектики. И несомненно, что он достиг своей цели, что его философия, рассматриваемая с нравственной точки зрения, есть фатализм еще более ужасный, чем фатализм Магомета, так как в сути вещей лежат, по мнению Гегеля, бессознательная эволюция духа и исторический процесс, обусловленный лишь законами логики. Этот фатализм не может даже возбуждать протеста, так как он проникнут эстетическим созерцательным отношением к жизни. Среди этой эволюции духа, в мире этих понятий что прикажете делать человеку с его желаниями?.. Очевидно, ему надо отступать с некоторою даже совестливостью. Гегель презирал чувство, презирал массу, служащую этому чувству.

Уже в гимназисте, ни разу не записавшем в своем дневнике ни одного слова о жизни своего сердца, спокойно переваривавшем все, что полагалось, и даже более того, видна эта слабость аффективной жизни, создающей наши желания, наши идеалы. А впоследствии, когда Гегель целиком ушел в создание системы, эта сухость личной жизни достигла совсем гиперболических размеров. Он стал педантом. Параллельно с этим в его характере развивалась другая черта – *властолюбие.* Человек гениальный и инстинктивно сознававший свою гениальность, он до тридцати лет жил в тени и еще десять лет не мог добиться ни от кого признания своей гениальности. А между тем у него, голодающего приват-доцента, была уже система, «Das System», то есть для немецкого мыслителя – истинный патент на бессмертие. Но проходили целые годы и – увы! – дивный Абсолют возбуждал скорее недоумение, чем восторги. Гегель был самолюбив; более того, его сухая натура, оживленная гордым сознанием, что система создана, влекла его в сторону деспотизма. Слишком долгие годы ожидания, слишком малая доза добродушия и любви к людям сделали эту деспотическую наклонность сконцентрированной и непримиримой. Он не терпел возражений, никогда не снисходил ни к кому. С высоты мысли он презирал людей. Как Кальвин (тоже *рассудочная* натура) не постыдился зажечь костер Сервета, так Гегель не постыдился обрушиться на Фриза, когда тот и так уже был под уголовным следствием. Гегель уничтожал своих противников, не стесняясь в средствах. Он фанатически верил себе. К его величию надо прибавить поздно проявившуюся властность натуры, и что же удивительного, если он соблазнился той ролью, которую предоставила ему Пруссия?

Он пошел на компромиссы и двусмысленности. Он стал играть словами и формулами.

Все действительное разумно.
Все разумное действительно.

Обе эти противоположные формулы выводились из его философии. Первая – это формула квиетизма; вторая, правильно понятая, едва ли пришлась бы по вкусу herr'у Альтенштейну. Гегель не высказался до конца и, как говорит Гейне, «посмеивался».

Но как бы ни возмущалось наше нравственное чувство, будем помнить слова одного из лучших и честнейших толкователей Гегеля: «Человек, имевший восторженными слушателями целую толпу высоких и благородных умов, никогда не мог быть низкою личностью по самому существу своему: ученики прежде всего разгадывают человеческое достоинство учителя. Но и добросовестные *враги* Гегеля, обвиняя его в заблуждениях, в ошибках, никогда не обвиняли Гегеля в подлости. Шеллинг, имевший много причин быть недовольным своим прежним другом, называя его чистейшим экземпляром внутренней и внешней прозы, не думал даже заподазривать его в «нечистых побуждениях». Легко было бы «заподозрить» Гегеля, но мы предпочитаем этого не делать: уважение к величию необходимо для нашей природы. Пожелаем только, чтобы будущие герои человечества соединяли в себе великий ум Гегеля с нравственными стремлениями любящего сердца.

Что же касается философии Гегеля, то прибавим в заключение несколько слов и о ней. Несомненно, что в настоящее время она имеет только исторический интерес. Мы можем относиться к ней sine ira et studio.[9] Ясно различаем мы в ней реакцию против рассудочности, господствовавшей в XVIII веке, совершенно основательно отталкивает нас ее произвольность, догматичность и акробатические фокусы гегелевской диалектики. Мы видим в ней одну из самых стройных и целостных попыток дать философское мировоззрение, независимо от истин точной науки, – проникнуть в тайну мироздания одним смелым полетом гениальной мысли. Вместе с этим перед нами – продукт грустного разлада между требованиями человека и скверной окружающей обстановкой, незаконного желания отрешиться от задач и обязанностей действительности, уйти в мир идей и оттуда свысока и с презрением смотреть на человеческие страсти, чувства, стремления к счастью. В конце концов ко всему этому примешивается филистерство. Как бы то ни было, система Гегеля существует теперь лишь как исторический факт: ее выводы и посылки разрушены наукой; ее оптимизм и самодовольство – жизнью; фатализм и преклонение перед фактом – нашей нравственностью. Для строго научной философской системы не пришло еще время, не пришло еще время и для того, чтобы человек получил право быть довольным собой и мирозданием…

[9] без гнева и пристрастия *(лат.)*

Приложение

Значение биографии для понимания метафизической системы. – Метафизика и наука. – Философско-исторические взгляды Гегеля. – Безличная эволюция. – Пренебрежение к личности. – Связь с реакцией. – Гегель в России

Познакомив читателей с биографией Г.Ф.В. Гегеля, мы намерены теперь изложить один из самых любопытных пунктов его учения – его взгляды на историю, на роль человечества на земле и во вселенной, на прошлые и грядущие судьбы людей. Таким образом мы надеемся избегнуть того, по-видимому, обоснованного упрека, который может быть сделан книгам подобно нашей: какой смысл давать биографии тех лиц, чьи сочинения – настоящая книга за семью печатями для большинства всероссийских читателей? Но не говоря уже о том, что каждый, тем более большой человек интересен, как *личность,* в данном случае упрек был бы тем менее основателен, что без подробной биографии автора ни одна метафизическая система не может быть правильно понята, вернее совсем не может быть понята и что «в личности метафизика заключается уже его система». Метафизика не наука, тем менее – наука точная. Научное мышление находится в подчинении у факта, научные истины могут быть открываемы людьми самых различных положений, характеров, убеждений. Что, например, общего между Ньютоном и Лейбницем? Однако оба они и в одно и то же время открыли дифференциальное исчисление. Как люди Дарвин и Уэвелл ничуть друг на друга не похожи, однако мысль о естественном подборе принадлежит им обоим. Человек науки берет свое содержание из фактов, он открывает законы, наблюдая отношение между фактами. Выводы его творчества прямо зависят от данных природы, то есть совершенно объективных. Даже гипотеза должна быть основана если и не на всех, то, по крайней мере, на некоторых подмеченных и несомненных взаимоотношениях вещей. Иначе никакой научной ценности она не имеет.

Не так поступает метафизик, не таковы условия метафизического творчества. Факт, явление, взятые сами по себе, не имеют в глазах метафизика никакого значения, никакой ценности. Это – преходящий символ, это видимая, изменчивая оболочка того абсолютного, непреходящего, неизменного, что скрывается от глаз людей. На уразумение этой сущности, нумена, Dinge an und für sich, и должны тратиться все усилия человеческого разума. Метафизик только по видимости оперирует тем же материалом, что и человек науки, на самом же деле он ежеминутно переступает область опыта и наблюдений, чтобы вступить в царство чистой идеи, не зависящей от своей земной формы, в мир абсолютного и неизменного, спрятавшегося за видимой и изменчивой оболочкой жизненного факта и явления. Но все мы рассуждаем об известном и на основании известного. Метафизик говорит только о неизвестном, только оно его интересует. Этот «икс», эта вечная тайна, эта неуловимая сущность всего существующего является единственной целью его умствований. Ради достижения ее он постоянно забывает о земном, о том, что находится в действительности. Совершенно отрицая, что существуют непереходимые границы для человеческого разума, он то и дело с большей или меньшей ловкостью переходит через них. Для этого ему нужны некоторые непреложные истины, аксиомы, которые могли бы служить ему операционным базисом в дальнейших рассуждениях. Откуда же взять их?

Всякая метафизическая система начинается с аксиомы, все аксиомы, на которых основываются метафизические системы, произвольны. Выбор той или другой аксиомы зависит

от личности метафизика, его характера, его настроения. Поэтому-то и говорят обыкновенно, что метафизики – это поэты, попавшие не на свое место. Как поэты они служат своему настроению, как поэты они все субъективны до последней степени, и если мы возьмем хотя бы сотню метафизических систем, ни одна из них не будет похожа на другую. Различие в системах сводится к различию в личности их творцов и эпохи. Почему Шопенгауэр пессимист, а Гегель оптимист? «Не обусловливается ли это различие между двумя философами их личными характерами, свойствами их ума?.. Для Шопенгауэра это положительно верно: самоубийство его отца, его собственное мрачное настроение – весьма важные факты для объяснения его философии. Как Гегель *скопировал с себя* свой абсолютный дух, так и Шопенгауэр свое личное настроение вынес из себя, чтобы превратить его в выражение абсолютной ценности мира».[10] Личное «я» автора – вот ключ к пониманию метафизической системы. Не зная биографии автора, нельзя понять и ее. Очевидно поэтому, что нам надо было начать с биографии Гегеля, так как он не только метафизик, но и величайший из метафизиков XIX века.

Биографию Гегеля мы знаем, мы знаем и его личность, его настроение. Теперь уже не трудно понять «систему». Но излагать ее всю не только невозможно, но и бесполезно: такое изложение не найдет себе читателей. Совершенно достаточно ознакомиться с его философией истории – «самой грандиозной попыткой конструирования истории», как называет ее Н.И. Кареев. «Философия истории» имеет еще и то преимущество, что она понятна, по крайней мере, *более* понятна, чем другие произведения Гегеля. К ней отнюдь не приложимы знаменитые слова Вольтера: «Когда тот, кто слушает, не понимает, о чем ему говорят, а тот, кто говорит, не понимает сам, что говорит, – это метафизика», – c'est de la métaphysique. В философии истории Гегель понятен, мало того, здесь – сущность его миросозерцания, центральный пункт его учения в отношении к *человеку.*

В основе философии истории Гегеля лежит та «простая», как называет ее сам Гегель, мысль, что разум управляет миром. Но разум этот не есть способность; его надо понимать в особенном специально-гегелевском смысле; разум – это сама сущность, субстанция, это не только мысль, но и мыслящее существо, это – всемирный дух, абсолютная, т. е. неизменная истина. Что знаем мы об *этом* разуме? Мы, обыкновенные смертные, ничего, Гегель – все. Свойство разума, сущность этой сущности, говорит он, – свобода. Но почему свобода, а не что-нибудь другое, почему непременно и только свобода? «Потому, – объясняет нам Гегель, – что все *постигается* нами из своей противоположности. Мы знаем о существовании *белого* цвета, потому что есть цвет черный, о существовании *большого,* потому что есть малое. Противоположность разума, духа – это материя. Свойство материи – тяжесть, *поэтому* свойство духа – свобода». Но что такое эта свобода? Как надо понимать ее? Для Гегеля эта свобода есть «das Bei-sich-selbst-sein», то есть «у-себя-самого-бытие». Не пугайтесь слова: смысл его совершенно ясен. Быть у себя самого значит *не зависеть* ни от чего другого, быть существом самодовлеющим, таким существом и является *разум* Гегеля. Он свободен, потому что кроме него нет ничего, он свободен, так как его деятельность – *познание,* но это познание самого себя – *самосознание.* Итак, разум Гегеля ни в чем не нуждается, ни к чему не стремится кроме самосознания, то есть опять-таки к самому себе. Поэтому он – свободен, тогда как материя – зависима, и эта зависимость ее выражается в *тяготении* к другому, вне ее находящемуся центру.

Мы боимся, чтобы читатель не воскликнул: «К чему такой огород городить?» Но немного терпения: все это не только понятно, но и поучительно.

Хотя сущность разума заключается в *свободе,* но *сознавать* эту свою свободу он начинает не сразу. Процесс истории в том и заключается, что «разум вырабатывает знание того,

[10] Кареев Н.И. «Основные вопросы философии истории». Т.1, стр. 179

что такое он сам по себе». Цель истории – самоосознание разума, этой цели служит все, что случается для того, чтобы служить этой цели. Поэтому все разумно и все необходимо. Что бы ни говорили Гегелю о страданиях, перенесенных человечеством, о жертвах, принесенных на алтарь истории, жертвах еще и теперь, через столько веков, возмущающих нашу душу, у Гегеля на все готов ответ. «Нечего, – говорит он, – проливать слезы и жаловаться, что хорошим нравственным людям часто и даже большею частью плохо живется, тогда как дурным и злым – хорошо». Все это безусловно полезно и даже необходимо: мир таков, каким он должен быть: разум прекрасно пользуется для своих целей как страданиями, так и радостями людей, и не все ли равно, будут ли то страдания или радости, раз разум достигает своей цели: самосознания?.. Для Гегеля это действительно было безразлично: самосознанию как *цели* он принес в жертву историю и человечество. При этом никакие соображения не останавливали его. Цели, поставленной разумом, он поклоняется; средства, которыми достигается цель, интересуют его очень мало, вернее – совсем не интересуют.

Итак, история есть жизнь абсолютного разума, стремящегося к самосознанию в человечестве. Любопытно отметить, что Гегель, понимая этот разум как существо мыслящее, наделил его собственными своими качествами, так сказать, писал его с самого себя. Суть жизни для Гегеля сводится к *пониманию,* для разума – тоже: поняв себя, он достиг конечной цели. Сам Гегель был оптимистом, его разум оптимист ничуть не менее. И Гегель, и его разум одинаково утверждают: все идет к лучшему, и даже более того: здесь на земле совершается только *единственно* возможное, только необходимое: мир как раз таков, каким должен быть. Гегель презирал чувство, страсти, личность; разум одинаково презирает чувства, страсти, личность. Это не вечно страдающее существо Шопенгауэра – *воля,* а существо удивительно самодовольное. Ну что из того, что средства (то есть люди), которыми он пользуется для достижения своей цели, гибнут? Надо только *уметь* пользоваться этой гибелью, этими жертвами ради своей цели. Раз страдание открывает что-нибудь новое, нужное для полноты понимания, то оно полезно, оно необходимо. Мало и этого: Гегель был фаталистом; процесс развития разума одинаково фаталистический, обусловленный законами логики; разум стремится к цели, но это стремление не есть свободное творчество, а присущая разуму необходимость. Такую параллель можно бы продолжать очень долго, но для этого пришлось бы повторять биографию. Если из этой биографии читатель понял, что такое Гегель, то теперь он поймет, что такое гегелевский разум. Как Зевс был похож на грека, так разум Гегеля похож на него самого, ибо, повторяю: гегелевский разум не есть способность, но существо (weltgeist); это прекрасно следует, между прочим, и из известного изречения Гегеля: «Нужно назвать *хитростью* разума, что он заставляет действовать для себя страсти». Как видите, разум даже хитер. Это знаменитое die list der vernunft (хитрость разума).

Посмотрим теперь, как живет разум в человечестве. Прежде всего надо отметить тот факт, что абсолютный разум переселяется от одного народа к другому и каждый отдельный народ есть в известное время его носитель на данной ступени его развития. Но далеко не каждому народу на земле разум делает честь поселиться в нем: он выбирает лишь небольшое количество наций, которые только поэтому и имеют историю. Мало того, побывав у одного народа, разум переходит в другой и вместе с этим переходом заканчивается историческая жизнь первого. Дважды в одну и ту же нацию разум не поселяется, почему многие народы давно уже сошли с исторического поприща, чтобы никогда более на него не вернуться. Историческая жизнь разума начинается в Китае, продолжается в Индии, переходит в Персию, Ассиро-Вавилонию, Египет, Грецию и так далее – чтобы закончиться наконец в германском мире, преимущественно в Пруссии.

«История начинается с Китая и монголов». Здесь господствует теократия: это полнейшее отрицание всякой индивидуальности во имя единства. Единство, общее однообразие

являются господствующим началом жизни, здесь нет свободы, нет человека. Разум не понимает себя: он спит, и все его поступки похожи на поступки ребенка.

В Индии разум уже начинает *грезить*. Это страна необузданного воображения, не признающего ни преград, ни правил. В формах жизни господствует известное разнообразие, касты, но эти касты основаны не на личных особенностях, а на разделении занятий. Поэтому и здесь нет свободы, так как положение человека зависит от чисто внешних обстоятельств. Той независимости, того «у-себя-самого-бытия», которое составляет сущность свободы, разум еще не достиг. На сцене люди, но нет *субъектов;* мы видим лишь формы, категории, разряды (касты), но не видим отдельных людей. Природа господствует, как и в Китае, но свет самосознания еще не загорался.

Разум переселяется в Ассиро-Вавилонию, Финикию, Персию, наконец, в Египет. «Здесь произошло соединение вавилоно-ассирийского сенсуализма и финикийско-европейского спиритуализма». Проще: разум *понял* уже, что он дух, но все еще находится в зависимости от материи. Это тяготит его; «беспокойно волнуясь», он стремится вырваться из оков материи, но пока его попытки тщетны. Символ Египта – сфинкс: человеческая голова (разум) смотрит из звериного тела. Это соединение несоединимого. Это загадка. Но разгадать ее удалось не Египту: он так и не узнал, в ком же разум может проявить свою духовность во всей ее полноте, в ком или в чем может осуществить он свою свободу. Смотря на сфинкса, на это уродливое соединение высшей духовности и грубой материи, Эдип, грек, сказал: «человек». Чудовище бросилось в море: разум нашел себе место.

Поэтому-то «в Греции мы впервые чувствуем себя дома». Здесь на сцене субъекты, индивидуумы; здесь дух сознал свою индивидуальность, свою особность, отдельность от материи; но странно, – чтобы понять, чтобы изобразить себя, он все еще черпает материал из природы. Это – юность человечества, период человеческой чувственности в широком смысле слова. Грек не достаточно «духовен»: ему все надо видеть, осязать, чувствовать. Высшее выражение его деятельности – искусство, но и оно слишком материально, слишком телесно. Сам индивидуализм греческой жизни слишком резок и угловат: разум как бы разделился на тысячи кусков и частей; одна часть борется с другой, и разум не способен охватить себя целиком. Разрозненные в греческом мире индивидуальности нуждаются хотя бы во внешнем объединении.

Это объединение дано Римом. Принцип Рима – «абстрактная универсальность». Рим стремился наложить узы на нравственные индивидуумы, собрать все народы в одно всемирное государство, всех богов – в один пантеон. Он боролся против крайностей греческого индивидуализма и партикуляризма, его идеал – отвлеченное, всеобщее и, вместе с тем, глубоко практическое. Сама религия Рима – религия целесообразности прежде всего. Однако, налагая узы на нравственные индивидуумы, принося в жертву содержание личности и саму личность кумиру всеобщности, Рим постоянно встречал противодействие. В его разрозненных, хотя и подчиненных одному принципу, частях никогда не было духовного единения. Только империя, деспотизм цезарей дал этому громадному всемирно-государственному телу *внешнее* единство, которым «разум», однако, удовлетвориться не мог. Он ищет духовное и бесконечное; в Римской империи не было ни того, ни другого. Разочарованный в Риме абсолютный разум углубляется в самого себя, стремится к духовному миру, так как он дух, и уже познавший себя дух. Этого удовлетворения своей духовности он ищет страстно, с беспокойством. Земная материальная форма Римской империи, ее практические идеалы возбуждают в нем негодование и отвращение. Он хочет даже совершенно отрешиться от земли и ее интересов.

Тогда на сцену выступает величайшее, всемирное явление – христианство. Тут впервые человечество узнает, что природа людей духовна, что человек в сущности своей есть дух. Но время духовного царства не пришло еще: люди не могут пока действовать на основа-

нии своей внутренней правды и свободы. Несмотря на сознание своей духовности им нужна внешняя власть, которая, однако, не отрицала бы их духовности. Является государство церковное – папство.

Принцип христианства, принцип внутренней свободы и духовности мог развиться только в германском мире. Здесь – старость разума. Только германский дух оказался способным постигнуть абсолютную истину, и разум, поселившись в него после стольких блужданий, находит наконец возможным осуществить свою конечную цель – самопознание. Завершением истории является протестантизм, но его появлению предшествуют суровые средние века. Прежде, однако, чем сказать о них несколько слов, сделаем маленькое отступление.

История для Гегеля есть история абсолютного разума. Как мы видели, на протяжении стольких веков он не знает ни минуты покоя. Начав с Дальнего Востока, он все далее переселяется на запад, «беспокойно волнуясь», переходит он от одного народа к другому. Что же двигает им? Какая таинственная сила заставляет его то и дело менять свое место, свою форму, стремиться к духовности, самосознанию, к внутренней свободе?

«Разум, – отвечает Гегель, – развивается по необходимости, процесс его развития начинается еще в то время, когда он слеп и бессознателен. Законы же его развития – законы логики». И в биографии мы уже видели, что «Логика» – это ключ к пониманию всей системы Гегеля. В конце концов, деятельность гегелевского разума безлична, это чисто логический процесс развития идеи, который наш философ воплотил, между прочим, и в истории человечества. На сцену выступает знаменитая гегелевская триада – тезис, антитезис, синтез, – то есть положение, отрицание и примирение первого со вторым, те три ступени диалектического развития, которые необходимы в жизни каждой идеи, через которые проходит и абсолютный разум. Для мало упражнявшегося в философии читателя подобная «триада» может показаться и произвольной и затруднительной для понимания, но обойтись без ее разъяснения нельзя; без нее нет и философии Гегеля. Простоты ради обратимся к примерам. Минуя частности, Гегель делит историю на три крупные части: Восток, классический мир и мир христианско-германский. Первый представляет из себя тезис, второй – его отрицание, третий – отрицание этого отрицания и полное примирение всех противоречий. Эти противоречия: духовное и мирское; конечное и бесконечное. На Востоке на первой ступени своего развития разум не сознает своей свободы, подчиняясь деспотизму политическому и религиозному, он «спит», но в этой малоподвижной жизни заключается уже все то, что составляет сущность истории человечества, все ее содержание. Это, повторяем, тезис, положение: разум свободен, но он не сознает своей свободы, внутренняя его работа еще не начиналась: он молчит в Китае, грезит в Индии, но нет еще беспокойного метания, нет стремления выяснить себя, свою сущность. Он живет, но эта жизнь подобна прозябанию и процессу. Человек не борется, не протестует, он склонился перед фактом жизни и жизненной необходимостью, он не осознал себя как отдельное существо. Религия уничтожает его личность, поглощая ее в представлении о бесконечном; жизнь задавила его своим религиозно-политическим деспотизмом. Как же может разум осознать свою свободу? Для этого ему, прежде всего, надо пройти период отрицания своего прежнего положения. Вместо бесконечного и общего, господствовавшего на Востоке в формах ли религиозных представлений или государственной жизни, является господство конечного и индивидуального. Греческие боги – это люди, жизнь человека ограничена землей, каждый грек признает в себе отдельного человека. В государственной жизни господствует партикуляризм. Общее и единое Востока разделилось на тысячи частей. Это – антитезис. Разум идет дальше. Он уже выяснил себе, что существуют противоречия между конечным и бесконечным, общим и индивидуальным. Как примирить их? Он достигает этого в новой Европе, где личная свобода уживается с требованиями целого, то есть государства, где бесконечное (наши религиозные представления) воплотилось в конечных формах – церкви, где духовное примирилось с мирским и церковь

слилась с государством. Разум, как видим, вернулся к своему исходному пункту, к тезису; на последней ступени, как и на первой, одинаково нет никаких противоречий, но теперь уже разум стал сознательным и свободным.

Возьмем еще один пример. В первый период средневековья господствует внешнее единение под властью франков. Франкское государство поглотило нации, церковь, личность. Но под прикрытием внешнего единства таятся элементы противоречий между отдельными народами и франкской державой, индивидуумом и деспотическим государством, властью духовной и мирской. Противоречия быстро выступают на сцену: отдельные нации восстают против франков, отдельные лица – против государства, церковь – против мирской власти, и в результате – распадается франкская монархия, возникает феодальная система, церковь отделяется и становится самостоятельной силой. Противоречия остались, они только воплотились в жизненные формы, и чем дальше, тем больше они развиваются. В их развитии, обострении проходит вся средневековая история. Жизнь ужасна: она преисполнена отрицанием, и, чтобы найти правду, дающую возможность жить, люди отправляются на Восток для освобождения Гроба. Но неудача крестовых походов убеждает их, что истину надо искать в себе. Разум начинает метаться: возрождение, книгопечатание, открытия и изобретения следуют чередой. Наступает Реформация и примирение противоречий: церковь сливается с государством, личность примиряется с ним же.

Этой своей триадой, этим движением противоречий Гегель объясняет всю историю как в частях, так и в общем. Надо согласиться, что у него получается очень стройная картина жизни человечества. История вытянута в одну линию, все служит одной цели, повсюду господство непреложного логического закона. Но вместе с тем очевидно, что так рассматривать историю нельзя: объяснение Гегеля произвольно, он берет только те нации, которые ему нужны, и на такое время, на которое это ему нужно, а затем преспокойно отбрасывает их. О многих народах он совсем не говорит. Для него, например, не существует ни Византии, ни славянства. «Тогда как, – говорит Н.И. Кареев, – история представляет из себя течение многих параллельных рек – у Гегеля только одна река», им самим выдуманная.

Но критиковать Гегеля здесь не место. Спросим лучше себя, какой смысл его философии истории? В ней, очевидно, господствуют две идеи – идея развития и идея абсолютной бесценности личной человеческой жизни. Первая сближает философию Гегеля с философским движением XIX века вообще, вторая делает ее не особенно симпатичной, чисто фаталистической. Все части, все периоды истории Гегель представляет взаимно солидарными, взаимно друг друга дополняющими. У него нет ничего лишнего, случайного, произвольного: все строго логично и все безусловно необходимо. Каждая рассматриваемая эпоха есть необходимая стадия развития разума. Эта стадия предполагает известные политические и общественные формы, известные нравы, верования, убеждения. Стадия проходит и уносит за собою все обусловленное ею. На ее место является другая, *логически необходимо* вытекающая из первой. И так далее. Как оптимист Гегель все развитие человечества объединяет под принципом прогресса в сознании свободы, в распространении этой свободы на всех. В конце концов каждый свободен, каждый сознает свою свободу. Достигло ли человечество такого состояния? Хотя Гегель и говорил иногда, что процесс развития разума бесконечен, однако на поставленный вопрос он отвечал утвердительно. Следовательно, дальше некуда идти, и совершенно правы были гегельянцы, спрашивая себя: что делать дальше абсолютному разуму, раз он познал себя в философии Гегеля? Эта философия, как для ее автора, так и для его учеников, являлась завершением всего умственного движения человечества. Принципы всех прежних систем, как уничтоженные моменты, содержатся в гегелевской философии; развития дальше, к высшему – нет. Проводя в своих сочинениях идею эволюции, трансформизма, Гегель, повторяем, шел рука об руку не только с философским, но и научным течением XIX века. Ставя этой эволюции точку, он совершил, конечно, грубую

ошибку, но и эта ошибка характерна для него и может быть понята лишь из данных о его личной жизни, то есть из его биографии. Стоит только спросить себя, какую массу самодовольства, самоуверенности надо иметь у себя на душе, чтобы провозгласить себя завершителем того умственного движения, которое продолжалось целые тысячелетия; каким надо быть педантом и доктринером, чтобы наперекор фактам живой жизни, наперекор всеобщей неудовлетворенности признать бесплодными и ненужными стремления людей к счастию и справедливости? Гегель или не видел этого, или не хотел видеть: его личное настроение опять вторглось в систему, и с точки зрения трансформизма круто повернуло ее на точку зрения абсолютного, *уже достигнутого* совершенства.

Уже одним своим утверждением, что дальше некуда идти, Гегель протягивал руку реакции. Но еще ближе подходил он к ней своим пренебрежением к личности, своим оптимизмом, своим фаталистическим миросозерцанием. На самом деле, рассматривая философию истории в ее целом, мы видим, что Гегель совершенно игнорирует личное творческое начало в жизни. Все нужно, все полезно, все хорошо не потому, что оно служит человеческому счастию, а самосознанию разума. В гегелевской истории мы не видим ни наций, ни людей; перед нами разум, абсолютное начало жизни и ее абсолютное содержание. Люди – средство; разум пользуется ими для своих целей и с хитростью эксплуатирует их страдания. Перед гегелевским разумом в начале его исторического поприща открывается неизвестная таинственная страна, которую он во что бы то ни стало должен изучить и исследовать. Но сам он в эту страну не идет, а отправляет туда людей, целые племена и народы. Исследовать таинственную область – дело нелегкое и опасное: это своего рода меотийское болото, где ничего не стоит затеряться среди лесов, непроходимых топей, трясин и так далее. Хитрый разум как будто знает это и употребляет на пользу себе человеческие страсти. Он возбуждает честолюбие, стремление к славе, все другие чувства, лишь бы побудить смертных к трудному и опасному путешествию. Какое ему дело, почему идет человек в эту таинственную страну – из-за славы или от отчаяния? Важно одно – достижение цели, важно, чтобы каким бы то ни было путем смелые пионеры принесли весть, а перенесенные ими трудности ставятся исключительно на их личный счет. Не беда, если многие даже погибнут: эти жертвы нужны. Такова в конкретном образе точка зрения Гегеля и его разума на человеческую жизнь и человеческое счастье. Человек—средство на всем пути развития истории.

Что же такое человеческие идеалы? Для Гегеля никаких человеческих идеалов не существует. Он отрицает их безусловно. *Ценность человеческой жизни относительна, а не абсолютна. Абсолютную ценность, то есть такую, которой все должно служить, имеет лишь идея.* Идея эта, рассматриваемая как существо, проникнута иезуитской моралью, удивительным самодовольством и даже жестокостью. Надо согласиться, что, рисуя автопортрет, Гегель отнюдь не приукрасил себя.

Теперь уже связь гегелевского учения с реакцией очевидна. Реакция в общественной жизни, где бы и при каких бы обстоятельствах она ни происходила, всегда своим исходным пунктом имеет пренебрежение к личному творческому началу в жизни. Только это личное начало и создает идеалы, только оно и обусловливает движение вперед. Прогресса в природе никакого нет, прогресс – это наше собственное понятие, наше собственное стремление, внесенное в жизнь природы. Когда мы говорим, что такое-то явление прогрессивно, мы тем самым говорим, что оно благородно, справедливо, что оно содействует нашему счастью. А какое дело природе до благородства, справедливости и нашего счастья? Прогресс – наше собственное, человеческое, путь прогресса – это достижение человеческих идеалов. Гегель же признавал только прогресс разума, а о человеческой личности и человеческом счастье нисколько не заботился. Мы видели его в Берлине ратующим против немецкой молодежи, либерализма и прочего. Более последовательным нельзя было и быть. С одной стороны – мировой процесс завершен, с другой, – какое право имеет человек выдвигать на сцену

свою волю, свои чувства, если лично он никакой ценности не имеет? Разве его счастье кому-нибудь нужно, разве разум выражается в нем? Представителем разума Гегель считал не личность, а государство. Поэтому-то он и учил, что государство всемогуще, что оно – земной бог и может делать с отдельным человеком все, что ему заблагорассудится. Повторяем, пренебрежение к личному началу в истории реакционно по самой сущности своей. Утверждая, что личность, ее идеалы ничего не значат, мы становимся или на точку зрения безличной эволюции, при которой нам нечего делить, или приходим к взгляду, что человек есть средство для какой-нибудь другой, вне него находящейся цели.

Этому, в сущности, и учил Гегель. Почему же так увлекались им русские люди, и притом лучшие люди в России? Перечислим только некоторые имена, чтобы, так сказать, конкретно изобразить значение гегелевской философии для России. Список длинен. Белинский, Герцен, Станкевич, Тургенев, Грановский – это лучшие; за ними еще целая масса. Не говорим уже о влиянии Гегеля на наших юристов: Чичерин, Редкий были гегельянцами. Правда, увлечение Гегелем было только эпохой в личной жизни каждого из деятелей сороковых, но этого увлечения не миновал почти никто. Что же столь увлекательного в философии Гегеля?

Нам уже не раз приходилось указывать на то, что эта философия обнимает собою *все.* Гегель был прав, утверждая, что его система – итог всего сделанного ранее метафизической мыслью. На воображение она производит впечатление грандиозное, поражающее. Один человек, одна система отвечает на все вопросы, выясняет смысл, цель и назначение бытия. Поверьте Гегелю – и для вас нет более загадок жизни. Затем эта система наукообразна: подкопаться под нее дело нелегкое; для этого надо обладать такими же сведениями, какими обладал сам Гегель, а эти сведения громадны. Не только ведь русские люди верили Гегелю, ему верила одно время почти вся Европа. Что наука! Наука в то время была разрознена, представляла из себя груду необобщенного, неразработанного материала. Она могла, как и теперь, удовлетворить только жажду познания, но ответить человеку на самые дорогие для него вопросы о сущности жизни, ее цели, ее назначении она была не в состоянии. Да и теперь эти вопросы для нее не существуют; а странно, как можно жить, не разрешив их? Когда отбрасываются ответы, даваемые религией, то что же остается? Пустое, ничем не заполненное пространство. *Поверив* же в философию Гегеля, с таким затруднением встречаться уже не приходится: его система охватывает все, его система дает ответ на все.

Правда, бывают эпохи такой усиленной жизни чувства, такой бодрой, общественной жизни, такой деятельной любви к ближнему, такой деятельной заботы о нем, что вопросы бытия отступают на второй план. Но подобные эпохи редки, исключительны. Тридцатые и сороковые годы, во всяком случае, к ним не принадлежат. Обиженный жизнью, окружающим ее формализмом, жестокостью, человек инстинктивно искал какого-нибудь примирения с действительностью; и не какое-нибудь, а с виду совсем хорошее, совсем разумное примирение давала ему философия Гегеля. В ней он находил программу для своей деятельности, она указывала ему на великое содержание жизни, успокаивала его тревожное личное чувство. Поражая воображение своим грандиозным размахом, она действовала как гашиш, как представление о нирване. «Забыть о себе», «слиться с бытием», «созерцать» – таковы ее практические выводы. Надо согласиться, что они успокоительны.

Но это, так сказать, отрицательное значение гегелевской философии; у нее есть и положительное.

В тридцатые и сороковые годы русская мысль находилась в периоде младенчества. Не было ни науки, ни философии, но потребность того и другого была. И вдруг русскому человеку предлагают систему, охватывающую собою *все,* дающую ответ *на все,* примиряющую его с жизнью, с действительностью, оправдывающую его ничтожество, открывающую перед ним бесконечное созерцательное наслаждение!

Мудрено было не увлечься – и гегельянство стало дорогим гостем в России. Сколько надо было усилий ума, чтобы усвоить себе систему берлинского мудреца, сколько времени уходило на обсуждение диалектических тонкостей! Это наполняло жизнь, мало того: заставляло пересмотреть все свои взгляды, все свои убеждения.

Русские люди задумались, и притом очень серьезно. Благодаря различию в индивидуальности тех, кто штудировал Гегеля, его философия произвела различное впечатление. Воспитавшись на ней, одни стали западниками, другие – славянофилами. Началась та знаменитая борьба мнений, первым проявлением которой можно считать «Философские письма» Чаадаева, помещенные в «Телескопе» за 1836 год, – борьба, наполнившая собою всю деятельность Белинского и в сущности продолжающаяся еще и до сих пор. Вопрос, являющийся яблоком раздора, ставится, надо сказать, очень странно. Спрашивается: где истина – на Западе или в России? Крайние западники отвечают: истина только в Европе, крайние славянофилы: истина только в России. Поэтому первые проповедуют полное самоотречение, вторые – полное самодовольство. Первым и, пожалуй, самым крайним западником был Чаадаев. Рабски следуя за Гегелем, он вполне соглашался с положением последнего, что саморазвивающийся дух воплощается не во всех, а лишь в некоторых избранных народностях. Для настоящего времени такая народность – немцы. Их привилегированное положение будет продолжаться и в будущем, так как, пребывая в них, разум познал себя и больше ему делать нечего. Славяне к числу избранных народностей не принадлежат: разум не сделал им чести и не поселился в них; в их жизни не выражено никакой идеи; своего *нужного для разума* содержания у них нет. Поэтому им остается только *отречься* от самих себя, забыть все свое прошлое и усвоить западную цивилизацию, в коей вся истина. Наше прошлое никому не нужно, наше будущее никому не интересно. Индивидуальности в нас никакой нет, так как индивидуальность, по Гегелю, представляет из себя стадию логического развития разума. Чтобы у народа была индивидуальность, необходимо, чтобы в нем поселился абсолютный разум. Если этого условия нет, нет и индивидуальности. Следовательно: полное самоотречение, усвоение чужого, забвение своего – такова наша русская роль на земле.

Нельзя не согласиться, что трудно даже хватить далее через край. Чаадаев воспринял учение Гегеля до последней буквы и отнесся к России с безусловным отрицанием. Славянофилы тоже штудировали Гегеля, но отнеслись к нему совершенно иначе. Прежде всего они спросили себя, да что такое сам Гегель, что такое те начала, на которых зиждется западная жизнь? Гегель – рационалист, вся его философия – философия рассудка; сущность западной жизни – в рассудочности. Но разве этой рассудочностью может жить человек? Разве у него в жизни нет другого начала, более мощного, несомненно безошибочного? Такое начало существует – это *вера.* Вера эта – непосредственное, живое и безусловное знание, это *зрячесть* разума. Не оплодотворяемый верой разум создает только силлогизмы, вера же «улавливает связь явлений действительности с не проявляемым началом», она делает доступными все глубочайшие истины мысли, все невидимые тайны вещей божеских и человеческих. Но не требует ли вера отречения от разума, и, наконец, во что же верить? Верить можно лишь в то, во что верует весь народ: в истины и в идеалы православия; только православие проводило всегда строгую границу между мышлением и откровением, почему и не производило никакого насилия над разумом. В православии разум и вера примирены, у него есть и еще достоинство – народность.

Критикуя Гегеля отчасти самостоятельно, отчасти «по Шеллингу», славянофилы сделали к его взглядам очень серьезное добавление. Разум Гегеля только *познает.* Это познающий разум. Разум славянофилов *хочет.* Это *волящий* разум. Но если для познания нужны законы логики, то для воли нужен идеал и нравственные основы. И то и другое славянофилы нашли в православии и в русском народе: это любовь, общение.

Мы определили только исходные пункты учения славянофилов и западников. Было бы любопытно проследить дальнейшее развитие их мнений, но это, очевидно, не входит в нашу программу. Мы хотели только указать на связь этих крупнейших течений русской мысли с философией Гегеля и показать, что, не зная этой философии, нельзя знать и своего исторического прошлого. А это историческое прошлое, хотя и не особенно богато, но дорого для нас, русских людей, и всякая работа, выясняющая его, приносит нравственное удовлетворение. Без знания этого прошлого само будущее темно и приходится жить на ощупь, наугад. Но, в заключение, еще маленький вопрос: полезно ли было гегельянство для России? Такой вопрос – все равно, что спросить себя: полезно ли думать, полезно ли пересмотреть все свои взгляды, убеждения, все свое прошлое и настоящее? Наряду с другим философия Гегеля заставила сделать и это. Многим русским, и притом лучшим русским, она впервые дала действительно философское миросозерцание и ввела в самый центр умственной жизни Запада.

Этого, кажется, достаточно для дела рук человеческих.

Источники

1. *Гайм.* Гегель и его время.
2. *K. Rosenkranz.* Hegel's Leben.
3. Briefe von und an Hegel. Leipzig 1887. 2 B.
4. *K. Rosenkranz.* Apologie Hegels gegen Haym.
5. Гегелизм. (Библиотека для чтения, тт. 149, 151, 153, 155).
6. *А. Д. Градовский.* Политическая философия Гегеля.
7. *T. Harms.* Zur Erinnerung an Hegel.
8. *A. Véra.* Essais de Phil. hégélienne.
9. *Beaussire.* Antécéd de l'hégélianisme.